

Геннадий Александрович Русаков – российский поэт, переводчик. Родился 15 августа 1938 года. Жил в Мелекесе (ныне г. Димитровград). После смерти родителей воспитывался в детском доме, беспризорничал.

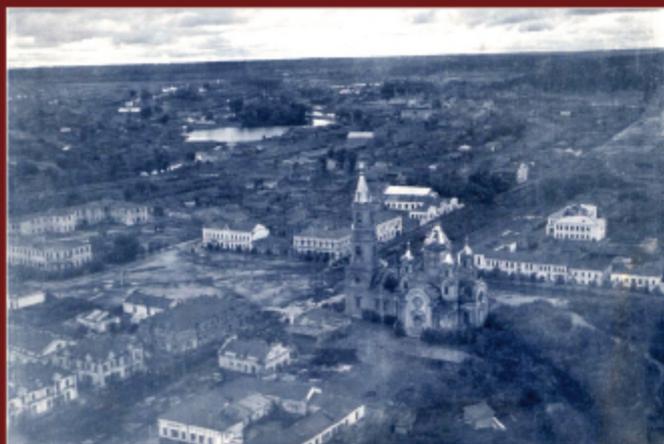
В 1958 году окончил Куйбышевское суворовское военное училище. Во время учебы в Куйбышеве часто приезжал к бабушке в Мелекес.

Учился в Литературном институте, окончил 1-й Московский педагогический институт иностранных языков (1966). Работал переводчиком-синхронистом в Секретариате ООН в Нью-Йорке, в Комитете за европейскую безопасность в Москве, в МИД СССР, в Секретариате ООН в Женеве.

Начал печататься с 1955 года. Первый сборник стихов «Горластые ветры» (1960) вышел в Куйбышеве, когда Геннадию Русакову было 22 года. Затем после длительного перерыва появились книги «Длина дыхания» (1980) (заслужившая восторженные отзывы Арсения Тарковского), «Время птицы» (1985), «Оклик» (1989), «Разговоры с богом» (2003), «Стихи Татьяне» (2005), «Избранное» (2008), «Дни» (2016), «Увидеть ветер» (2016).

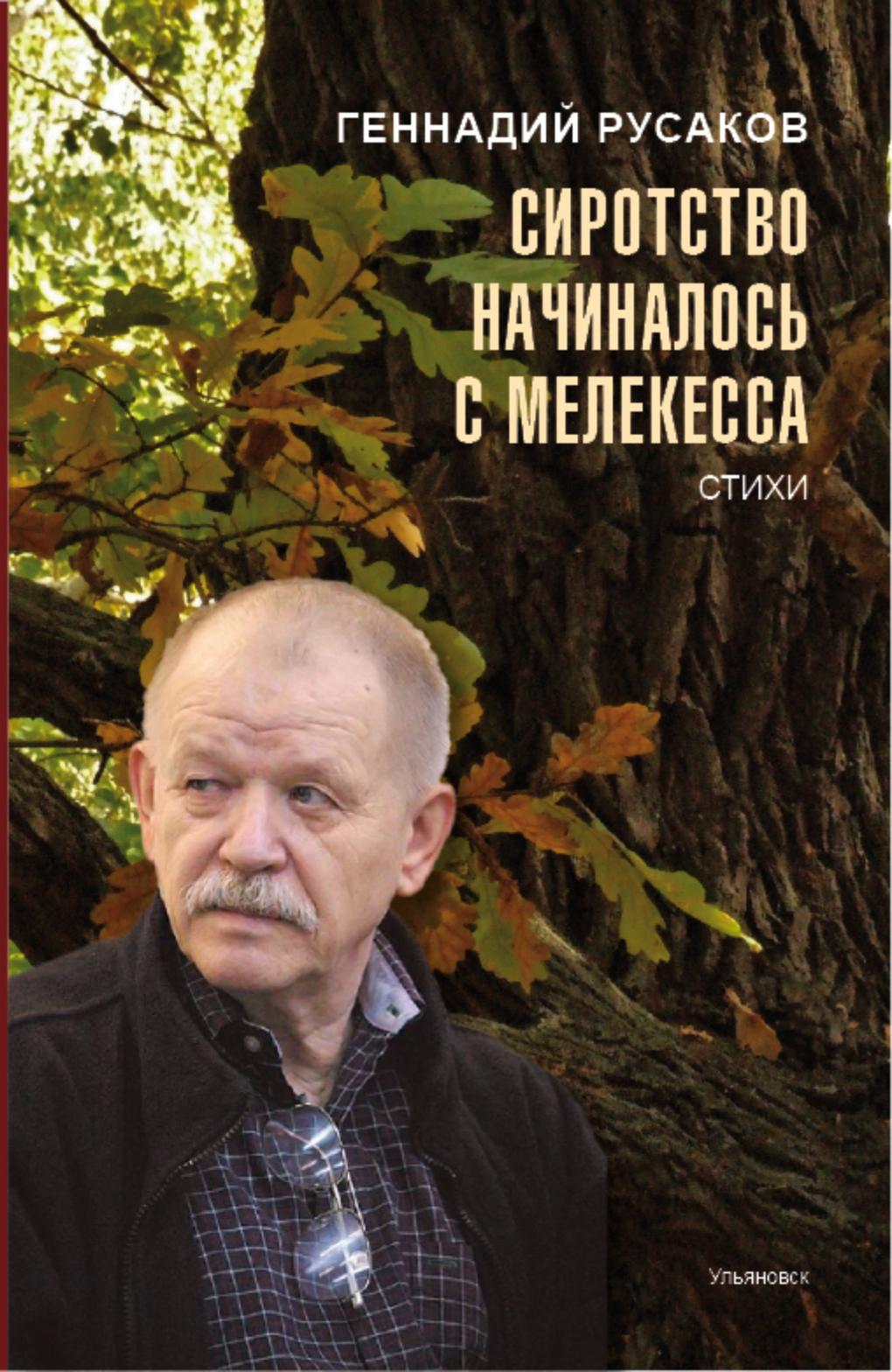
Владея рядом европейских языков, Геннадий Русаков выпустил в своем переводе книгу «Сонеты современников Шекспира», переводил произведения поэтов Италии, Франции, Бельгии. Печатался в «Литературной газете», в журналах «Знамя», «Арион», «Дружба народов», «Новый мир».

Награжден премией журнала «Знамя» (1996), малой премией Аполлона Григорьева (1999), премией Союза писателей Москвы «Венец» (2011), Национальной российской премией «Поэт» (2014).



Мелекес. Фото 1940-х годов

ГЕННАДИЙ РУСАКОВ  
СИРОТСТВО НАЧИНАЛОСЬ С МЕЛЕКЕССА



ГЕННАДИЙ РУСАКОВ

# СИРОТСТВО НАЧИНАЛОСЬ С МЕЛЕКЕССА

СТИХИ

Ульяновск



Геннадий Русаков

Стихи



ГЕННАДИЙ РУСАКОВ

# СИРОТСТВО НАЧИНАЛОСЬ С МЕЛЕКЕССА



СТИХИ

Издательство  
«Корпорация технологий продвижения»

Ульяновск  
2016

УДК \*\*\*  
ББК \*\*\*\*  
Р88

Р88 Геннадий Русаков.  
СИРОТСТВО НАЧИНАЛОСЬ С МЕЛЕКЕССА. Стихи. –  
Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий  
продвижения», 2016. – 232 с.

ISBN 978-5-94655-\*\*\*-\*

ISBN 978-5-94655-\*\*\*-\*

УДК \*\*  
ББК \*\*

© Геннадий Русаков, 2016  
© Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2016

*Для меня поэзия в первую очередь –  
нежность и боль, возможность  
разговаривать с миром на языке  
сострадания и восторженного удивления.  
Проще – это смех и слезы,  
горчайшее счастье.*

Геннадий Русаков

Да, хочется поговорить о поэзии, а не только о самом поэте, хотя я с ним давно и хорошо знаком. Уж больно часто вижу, что, прочтя книгу стихотворений, пишущий о ней статью или рецензию как бы возвращает послание обратно, использует тексты для суждений об их авторе, его пути, словно сами тексты обращены не к нему, читающему, не к читателю вообще. Я совсем не против того, чтобы «исследовать» автора, это важно и увлекательно, но сначала, прежде всего, если поэт – поэт, то давайте говорить о поэзии, о том, что она дает мне, нам, вам...

Сначала свет, потом источник света.

Однако сперва несколько слов о своеобразии личности – и не в пику сказанному выше, а потому, что настоящая поэзия приходит к нам вместе с личностью поэта. У нее, у поэзии, каждый раз свое собственное, неповторимое лицо.

Геннадий Русаков по-своему феноменален. Послевоенный беспризорник, детдомовец, шпана становится полиглотом, синхронным переводчиком в ООН, поэтом, который по сей день в основном живет и работает в Нью-Йорке. Это интересно отметить потому, что его английский, французский, итальянский языки никак не оказали своего воздействия на его сугубо русскую поэзию (я сейчас не касаюсь работы Русакова в области поэтических переводов), а его длительное пребывание в США тоже никак не повлияло на его поэтическое восприятие мира и на его менталитет.

В отличие от Бродского... Тот легко и безболезненно стал европейцем (в американском варианте), не переставая, разумеется, быть крупнейшим русским поэтом. Да и поэтика этих двух «американцев» чуть ли не противоположна по интонации, языку, стихотворной форме. Тут мы приближа-

емся к разговору о поэзии, о противоречивости ее развития. Не секрет, что новая интонация, открытая Бродским, оказалась настолько прилипчивой, что, обогатив русскую поэзию, совратила при этом сотни молодых стихотворцев. Не соблазнительна ли «легкость» сочинения таких стихов, как, например:

Предлагаю вам небольшой трактат  
об автономности зрения. Зрение автономно  
в результате зависимости от объекта  
внимания, расположенного неизбежно  
вовне; самое себя глаз никогда не видит...  
(И. Бродский. «Доклад для симпозиума», 1989 г.)

А попробуйте – тоже о зрении – в таком духе (легко ли?):

...И пасмурного дня невыносимый блеск  
(почти до рези глаз), и плачущие окна.  
И поливной комбайн под отдаленный треск  
на пойме проволок блестящие волокна.

Не будет у Русакова подражателей. И не надо. Каждому свое. Однако я продолжу до конца его стихотворение, оно пригодится для дальнейшего разговора:

Я пробую смотреть, не разжимая век,  
сквозь тонкую плеву, промасленную потом, –  
и вижу двух ворон, неловкий их разбег  
с подскоком на крыло и полуразворотом.  
(Я, господи, люблю весь этот нежный сор –  
детали, пустяки, копеечные кроки.  
Без этого стихи – что кузов без рессор,  
и провисают строки).

Как тут не вспомнить Ахматову: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...». Но Русаков говорит как раз об обратном: не стихи из сора, а «этот сор» – в стихи, чтоб, взмывая к небу, они оставались земными, полными живых,

конкретных реалий – причем природных, а не городских. Консерватор, Русаков придерживается классических форм стиха, но при этом его смысловые и эмоциональные сдвиги, его дерзкие, порой рискованные эпитеты твердят: он модернист. То он аукается с Фетом и Буниным, то – с Мандельштамом и Тарковским. Он сталкивает низкую, порой грубую лексику с высокой, порой библейской – и в этом сплаве он модернист. Такой вот «консерватор»... Наш с вами современник, плоть от плоти послевоенного поколения, он вырывается из времени, но не как Маяковский, который обращался к будущему химику с истовой просьбой о воскрешении на любых условиях («Что хотите буду делать даром, мыть, стеречь, мотаться, мечь. Я могу служить у вас хотя б швейцаром. Швейцары у вас есть?»). Русакову не до земного будущего. Он взывает к Богу (хоть он и пишет его со строчной – прописной жалко?):

Ты возьми меня, боже, хотя бы к себе в пастухи...

Совсем другое дело. Русаков – самый ветхозаветный из современных русских поэтов. Его Бог (бог) – доевангельский, тот, с которым тягался Иов. Пусть для этого у Русакова горячайшая личная причина, я, его читатель и современник, воспринимаю трагический «Разговор с богом» в контексте недавно завершенного двадцатого века с его Освенцимом, гулагом (вот тут мне прописных жалко!) и Хиросимой.

«Я сам – дитя мучительного века», – подтверждает и Русаков.

За что? «На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком?» (Книга Иова, 3, 23). Начал свой гнев с изгнания из Рая, а впереди – Апокалипсис? Откуда в мире Зло?

Бешеные, господи, бешеные годы несутся по грязи,  
кособочатся, путают ноги, роняют слюну.  
Чур, хрипатые, чур! Это снова к чуме и проказе.  
Грянусь оземь, заклячу сычом, прокляну...  
Снова кровью давиться, кусками отхаркивать душу.  
Я уже источился, мой век покидает меня.

Чем живее поэт, тем ему больнее. Никакой логикой поэзию Русакова не уставишь, не утетишь, зато ее мощь несомненна. Боль, вопль, мольба – эта правда неопровержима. Ум великолепно лгать умеет, боль – не умеет совсем. Но выше боли – дар слова, претворяющий боль в трагическую музыку, в предвестие катарсиса. Русский язык служит Русакову всем своим богатством, поэт привносит в него свой песенный дар.

Любим мы понятие – духовность. Ну да, какая поэзия без нее? Но тут духовность – не отшельника, не аскета, не проповедника истины, а самого плотского, самого живого из созданий господних. У кого еще из современных поэтов мы найдем такую неумную страсть к дарованной нам жизни, как в «Псалме вожделения»?

Вожделею, творец, дабы землю твою обрюхатить –  
вожделею, поскольку таким ты задумал меня.

У настоящих стихов загадочная энергетика. О чем бы они ни были. Об этом меня в свое время заставил задуматься Маяковский. Почему запоминаются строки из стихотворения на «никакую» тему – например, против рукопожатий во время гриппа? Но написал ведь не Демьян Бедный, а Маяковский! Поверх смысла идет волна личностной энергии, этакая волна биополя, зарядка чуть ли не по Чумаку..

Так вот – у Русакова тоже парадокс. Он нередко многословен и ходит концентрическими кругами, но нет провисающих строк. Через сотни его стихотворений – непрерывный ток энергии, порой даже против смысла. Я, скажем, с ним не хочу согласиться, когда он слишком настойчиво пишет о скорой смерти, а чувствую, что стихи внушают мне силу жизни. Это – поэзия, это сила жизни говорит о смерти («О ярость жизни! Не оставь – умру», «Я весь налит тяжелым соком жизни», «Мне больно жить от счастья бытия»). И наконец:

Какая боль в любви к живущим с нами рядом!  
Какая боль в любви!.. И жалко уходить,

Когда глаза еще полны библейским садом  
И хочется птенца на ветку посадить.

Стихи Русакова заставляют вздрогнуть от красоты («Машет бог рукой от палисада / на своих высоких небесах. / Дождь стоит посередине сада, / молодой, в сиреневых усах») и страдания («Ужо тебе, творец! В девятом отделенье / я скорбь мою, как хлеб, в поэзию макал») – они бросают из стороны в сторону. И все-таки самое ценное у Русакова – его тайна, тайна возникновения поэзии как бы из ничего, на ровном месте, где никак не ожидаешь:

Заколодело поле от снега,  
и, похоже, гудит под ногой...

(покамест что-то похожее, некрасовское, хотя «заколодело» – не его...)

Да и дальше – строка за строкой – не поймешь, куда клонится стих, а вдруг:

Может, там этот день малоснежный  
трусским волком бежал по стерне –  
по огромной, по горькой и нежной,  
по моей непосильной стране.

Не знаю, как вы, а я вздрогнул. Что-то кольнуло. Можно ли, надо ли объяснять?

Кругом такая ширь, что страшно за страну..

Так редко встречаешь подобное в мастеровитых стихах иных поэтов, где имеются все признаки того, что сейчас «носят», но нет этого укола – от сердца к сердцу..

Да, господи, не зря я, видно, жил,  
раз ты мне разрешил такую силу зренья,  
и слух, что слышит хруст глубоководных жил,  
и мой звериный нюх на запахи творенья!

И еще:

Непрошенная жизнь мне веки разлепила  
две тыщи лет назад...

Недавно я был на международном фестивале поэзии в Румынии. Талантливые поэты не делали погоды. Европейские поэты (многие!) почему-то похожи друг на друга. Как по команде стали писать верлибры с одинаковым приемом: развертывания псевдореальности. Я, дескать, работаю в мясной лавке, мимо меня ходят мертвецы и истово торгуются. А до рождения я был поэтом и орал, орал, орал. Меня держали в клетке... и т. п. (Это я сейчас стал придумывать в духе услышанного...)

Раз – хорошо, два – интересно, но в сотый раз – извините! Это уже бутафория, поставленная на поток. Имитация новейшей литературы. Это относится и к текущему состоянию нашей поэзии. Она, слава Богу, разнообразна, но и однообразна. Я имею в виду увлечение интеллектуальной ипостасью – от маскарада Пригова до герметизма Айги. Очень и очень в ходу ирония, центонность, остроумное избретательство. Недаром все более широкое распространение получают конкурсы, эстрадные соревнования, чуть ли не спортивный азарт...

Неужели стало неловко и стыдно быть самим собой?

Я убежден: как и сотни лет назад, требуется поэт, который умеет глубоко и сильно любить, негодовать, восторгаться и страдать. И возлагать персты на струны вполне современной лиры.

О таком поэте я и пишу. О поэзии:

Уже не писанье стихов,  
а просто дыханье словами.  
И перечень старых грехов,  
и ангелы над головами.

*Кирилл Ковальджи*

\* \* \*

Когда в апреле верба зацветает  
и машет в окна веткой налитой,  
душа так тихо, так печально тает  
перед её недолгой красотой.  
А дни легки и пасмурны без грусти.  
Непрочен сон. Несуетны дела.  
...Мне славно выросталось в захолустье,  
покуда верба пенилась-цвела.  
За Мехзаводом было видно с Горки  
свечение загаженных прудов,  
собес, вокзал, мордовские задворки,  
базары с копошением рядов.  
На танцплощадке бились смертным боем  
«студенты» с мелекесскою шпаной.  
А утром снова небо голубое,  
и снова утешает тишиной.  
И не хотелось ничего на свете.  
И не было, признаться, ничего.  
Лишь верба усыхала в самом цвете  
неряшливого детства моего.

\* \* \*

Как странно вырастать в большой стране  
товарищем пространства и раската  
и устрашаться с ними наравне,  
когда ветра выходят брат на брата,

и тяжек лёт полузабытых сёл,  
которых нынче больше нет на свете!..  
Я долго был на это время зол,  
как злы и лживы влюбчивые дети.

Хвала тому, кто с временем на «ты»!  
Хвала его душевному здоровью!  
Я домогался этой простоты,  
чтоб жить в ладах с моей строптивой кровью.

И был неправ: у крови краткий час –  
пусть подурит, пока ещё не ржава.  
Ведь время – то, что уместилось в нас.  
И родина – земля, а не держава.

А я – рука, несущая весло.  
На что гребцу иное достоянье?  
Я позабуду дней моих число  
и буду жить и слушать расстоянье.

Но странно вырастать в большой стране  
товарищем пространства и раската.  
И устрашаться с ними наравне,  
когда ветра выходят брат на брата.

\* \* \*

Сорок седьмой. Воронежские сёла.  
Замешанная во щи лебеда.  
Весна была скупой и невесёлой.  
И рано спала талая вода.

Я мал и зол, я пью отвар из хвои,  
ищу зерно среди раскрытых риг.  
Уже сквозит предсмертной синевою  
мой малярный высушенный лик.

Но всё ещё у самого начала:  
ещё не все доедены жмыхи,  
ещё живёт кобель, кривой и шалый,  
и, овдовев, дичают петухи.

\* \* \*

Мы маленькие, нищие и злые.  
 Мы плохо лжём, но нас научат лгать.  
 Вон звёзды, в непогодицу гнилые,  
 срываются на слякотную гать.  
 У Бога нет для нас на лавке места.  
 «Отец» и «Мать» – судьба о двух словах.  
 Когда умру под насыпью у Бреста,  
 пускай их мне положат в головах.  
 Я никому уже не буду сыном.  
 Но пахнет детством мокрая трава.  
 И мама там, в пространстве проносимом,  
 чуть блазнится и брезжится едва...

\* \* \*

*В Мелекессе похоронены моя мама,  
 бабушка и брат Юра*

...Еще и мать меня не вспоминала,  
 отец не ждал.  
 Из выцветавших бумажных роз  
 ко мне не обернулся братик Юра.  
 Лишь бабушка махнула мне рукой  
 и пёрышко обмакивает в масло.  
 Вот прянула и сделала кульбет,  
 на пятке перекинулась – летит,  
 и я лечу, и мне она смеётся родным  
 печёным яблоком лица.  
 Мария Павловна, цветок в горсти Господней!  
 Как воздух мнёт тебя, сворачивает,  
 снова расправляет  
 широким бестелесным колыханьем!  
 И нитками замотанные дужки твоих очков  
 видны издалека.  
 О, Господи! За что мне эта жизнь,  
 в которой я был так преступно счастлив?  
 И женщина, любившая меня, а нынче  
 переставшая мне сниться?  
 Ещё не срок судить и называть. Лишь ветер  
 сместил меня, приподнял над землёй, спустил  
 оттуда золочёных птах с горячими  
 распяленными ртами.  
 А плотное волнение куги и тень от облака,  
 бегущая к холму  
 и мелко шевелящая ногами – они,  
 как фотография на плёнке,



\* \* \*

Просовы на дорогах,  
глухие вечера.  
Накоплено немного,  
но больше, чем вчера:

две лужи у сарая,  
у вмерзшей бороны,  
поленница, сырая  
с нагретой стороны.

«Солдатики» по щелям,  
трещание сорок –  
начало канители,  
являющейся в срок.

И снова это небо,  
и волглые ветра...  
И я как будто не был,  
а быть уже пора.

\* \* \*

Пришёл наш черёд – и вместили сполна  
и небо, плетущее нити над нами,  
и осень, застиранное полотно,  
и нищенский сад за чужими стенами.

Душа привыкает к упорным трудам.  
Бесславью мерещатся сытые брашна.  
Но я за сегодняшний хлеб не отдам  
ни завтрашний хлеб, ни оглодок вчерашний.

Никто не повинен в своих временах.  
Где кончилась боль – начинается вера.  
И снова трубит на казённых стенах  
закат недоступного глазу размера.

\* \* \*

Игрушечных метелей  
нестрашный кавардак:  
завыли, налетели –  
и снова на чердак.

В размазанном рисунке  
расплакалось окно.  
И на приствольной лунке  
продавленное дно.

Душа моя пуглива,  
но знает, что к чему.  
В четверг намокла слива  
и свет стоял в доме.

Перемещались тени.  
Тощал в проулке снег.  
От местного растенья  
в сугроб шагнул побег.

И снова в горле жженье,  
и шорохи шагов.  
Ах, головокруженье  
от солнечных кругов!

\* \* \*

Ветер кружит и падает в сено,  
ноги кверху задрал, хохоча...  
Это самая первая смена.  
Скоро дождик задаст стрекача.  
Скоро будет хорошее время,  
запотелые окна прогнёт.  
Жизнь проходит – недолгое бремя.  
Ну, а вдруг ненароком свернёт?  
Подойдёт, поглядит, затоскует.  
Скажет: «Ладно, чего там, пошли» –  
в мелекесскую память шпанскую,  
к трём гробам посредине земли.  
К лазарету, где фортка открыта.  
К медсестре, что стоит на ветру, –  
это мама в румянце плеврита...  
Нет уж, лучше я завтра умру.

\* \* \*

Горит больших ночей задымленная роза  
поверх небесных сёл, налево от судьбы.  
И время – как сплошной расчёт педикулёза,  
как сукровицы соль из лопнувшей губы.  
Уйду от всех от вас и пайку съем до крошки.  
Мне скоро девять лет. Штаны под горлом жмут.  
Я лягу и умру хотя бы понарошке.  
Да только мусора и мёртвого возьмут.  
Четыре тыщи звезд бегут вдогонку небу.  
И букса на ходу отчаянно искрит.  
На свете вся родня – по крови и по хлебу.  
А остальных мне Бог из жамки сотворит.

\* \* \*

Нынче ласточки ходят к дождю  
самым низким своим полукругом.  
Коромыслом, дугой, друг за другом  
нынче ласточки ходят к дождю.

Стрекотанье и бешеный лёт,  
и трава по крылу убегает.  
Это счастье глаза обжигает –  
стрекотанье и бешеный лёт.

Это бедное сердце моё  
удивилось какой-то удаче,  
потому что не может иначе  
это бедное сердце моё.

## БАБУШКА

1

Кто зовёт меня оттуда,  
из последнего жилья,  
машет, манит, просит чуда?  
Это бабушка моя.

Папа, мама, братик Юра,  
ленинградская родня –  
тётя Тома, тётя Шура –  
не сердитесь на меня:

я вас часто вспоминаю  
и открытки берегу.  
Только я ведь вас не знаю,  
вот и вспомнить не могу.

Две войны, одна блокада...  
Вас давно земля взяла.  
Мёртвым мужества не надо.  
Ну, а бабушка жила.

Что хранила память-сито –  
записала на воде.  
Тот закопан, та зарыта...  
Не упомнить, кто и где.

Лица брезжут слабо-слабо,  
и уже забылась речь.  
...Мне бы бабушку хотя бы,  
мне бы бабушку сберечь!

2

Старуха плачет в темноте –  
приснился мёртвый зять.  
Забыл отец земных детей  
её на небо взять.

Она лежит себе в тиши  
и с Богом говорит:  
– Забыл и ладно, не спеши,  
обвыкну, не горит.

Ты прежде хворых пожалей,  
потом меня обладь.  
Ещё бы Ене пять рублей  
под праздники послать.

Ты погоди четыре дня.  
Светает? Значит, три.  
Ты после пенсии меня,  
Владыка, прибери. –

И Он, покачивая нимб,  
кивает: «Погожу».  
И я с божницы рядом с ним  
из карточки гляжу.

3

Мало зренья, и жизни не хватит,  
чтобы помнить не сор и труху –  
только зиму на старенькой вате,  
на заношенном рыбьем меху.

Сер мой день оскудения духа.  
Никуда мне печали не деть.  
Погоди, снеговья, старуха!  
Дай-ка мне на тебя поглядеть.

На кого-то ты больно похожа  
поворотом сухой головы...  
Да не ты ли латала одёжу,  
затирала чернилами швы,

ресторанные корки мочила,  
по копейке на книжку несла,  
на Псалтыри внучонка учила,  
двадцать лет в уплотненках жила?

Я закрою глаза, я не видел.  
Я тебя позабыл навсегда.  
Неужели в посмертной обиде  
ты опять отпросилась сюда?

Это всё меня память подводит.  
Это снежные птицы парят.  
Ты ушла, а назад не приходят.  
Непрощённым грехом не корят.

4

Из бывшего – из тёмного леса –  
мне приснился последний твой путь:  
погребенье за счёт райсобеса...  
Ты хоть это мне нынче забудь!

Побирушка, шептунья, черничка,  
книгочая до смертного дня,  
что ты, бабушка, малая птичка?  
Отвернись, не гляди на меня!

Вон опять без угла и ночлега  
малолетняя бродит душа –  
три привода, четыре побега,  
гривна прибыли, взятой с гроша.

Это я у судьбы на примете.  
Ты к такому покличься, к тому!..  
Только двое нас было на свете.  
Хорошо ж мне теперь одному!

Как мне перед тобою виниться?  
Плачь не плачь – всё равно не простишь.  
...Что ты, бабушка, малая птица,  
мне оттуда в ответ шелестишь?

\* \* \*

...и эти ослепительные годы  
над памятью моей, когда  
не грел огонь, обуглилась вода  
и в обморочных сумерках природы  
распятые являлись города,  
вещающая смутным языком кончины!..  
Что было – не жалею ни о чём.  
Ни мёртвых. Ни живущих. Рассечём  
пласты времён и вынем из пучины  
свидетельства под ветхим сургучом:  
всё мор и глад, и дерево людское  
осквернено, и век опять жесток.  
Но кто до нас умел прожить свой срок  
с такой тоской и жадностью такую  
к земле, уже летящей из-под ног?

О жизнь! Продлись хоть на длину дыханья:  
ещё не кончен воздуха глоток!

\* \* \*

Мир всему, что уснуло. Влекутся надзвёздные фуры.  
В зимовальные ямы ложатся сомы на Оке.  
И у Шаховых в клуне без повода вскинулись куры,  
будто заклекотали на курьем своём языке.  
Всё получит название. Всему обозначатся сроки.  
Я дорос до печалей моей непосильной страны.  
Заколодеют гати и намертво встанут протоки,  
только Господу Богу оттуда неясно видны.  
Скоро спустятся ветры, сойдут с соляного откоса.  
Ледяною окоркой на крышах окинется жечь.  
И такая большая, такая большая дорога  
ворохнётся над нами – как-будто на ней кто-то есть.

\* \* \*

По ниточке гуси летят.  
Как чётки у них промежутки!  
Не кличут, а будто кряхтят..  
Наверно, не гуси, а утки.  
Наверно, куда-то туда,  
где нас никогда не стояло.  
Где в небо растут города  
и тучи с размер одеяла.  
Там детям не нужно взрослеть,  
там старые лишь молодеют.  
Там лук заплетается в плеть,  
лечебные яблоки рдеют.  
...Ах, как хороша эта блажь,  
печаль по недолгому лету!  
Осенний кропящий пейзаж,  
потёмки на смену рассвету...

\* \* \*

Мне хочется порой прорыть в пространстве нору,  
чтоб видеть Божий мир с обратной стороны,  
как в книжке, где монах глядит, отдёрнув штору  
за близкий край земли, а мы там не нужны.  
Но ведь не в этом суть. Где были, там и будем.  
Дожди уже прошли. Земля опять прочна.  
И мелкое зверьё, доверчивое к людям,  
гуляет по садам, наевшись допьяна.  
Светает тяжелей, зато красна рябина.  
В слесарных мастерских от сварки меркнет день.  
Сезоны всё идут и прогибают спины.  
И тянется от них распластанная тень.

\* \* \*

Грустный ангел мне снится ночами –  
переросток с просевом угрей.  
Два тяжёлых крыла за плечами  
и наковка по кисти: «Андрей»,  
На лице выражение муки,  
только рот ожидающе сжат.  
И большие недетские руки  
на коленях забыто лежат.  
Это я называюсь Андреем.  
Это папа смотрит на меня.  
И дыханье проходит по реям  
парусиной гудящего дня.  
Что ты, милый, нелётная птаха?  
Что ты тянешься, горлом дрожа?  
И отцовская, с фотки, рубаха  
с круглой дырочкой странно свежа.  
Мне с Андреем легко и покойно,  
будто мы и взаправду родня,  
и мои непрожитые войны  
он уже оттрубил за меня.  
Будто он – моя крепь и защита  
от всего, что грядёт впереди.  
Только дырочка что ж не зашита –  
на рубахе у левой груди?

\* \* \*

...А дни идут – лобастые, родные –  
развалистой походкою утят.  
И маленькие дождики грибные  
волаголюю одежкой шелестят.  
И у меня душа уже в накрапах.  
А в воздухе, до края налитом,  
белёсый день стоит на мокрых лапах  
и ловит воду онемелым ртом.  
Лови, малец, стучи струёй в окошко!  
Подсолнухам по тёмному нутру!  
Ещё чуть-чуть, ещё совсем немножко,  
ещё на этой влаге, на ветру...

\* \* \*

Дряхлый дом, веранда в две доски,  
выход в сад, к задохшемуся луку.  
А за поймой дали далеки  
и ведут куда-то за излуку.  
Мы то здесь, то нас покуда нет.  
Раз в три года надо лезть на крышу.  
Дом осел, а крыше тыща лет.  
Небо близко, но бывает выше.  
Вот мой сурик в банке жестяной.  
Вот олифа с дрыном для размеса...  
Мне сегодня в кайф со всей страной  
крышу малевать из интереса,  
слушать обрывающийся гром,  
что грохочет проржавелым днищем  
там, за Каблучками, за бугром,  
но уже смещается к Варищам.  
Думать думы – чирик за пучок! –  
и дуреть от жирной цветосмеси,  
как когда-то пуганый сморчок  
в смраде Мехзавода в Мелекессе...

\* \* \*

Когда мне срок велел, а голод вымыл скулы  
и птицы унесли меня на колоски,  
я крикнул и пошёл с моей судьбой сутулой.  
И тень свою пронёс на всю длину тоски.  
Вокруг шуршала жизнь и тренькала на струнах.  
Произрастали дни из малых величин.  
И музыка была в твореньях этих юных,  
играла для меня без видимых причин.  
Был свет над головой и горе выше света.  
Сворачивался лист, крошился через край.  
Какая у меня весёлая планета:  
иди, пока идёшь, ложись и помирай!  
Горит во мне мой гнев. У жлобов блещут ляжки.  
А мне девятый год. Твердеет сердца ком.  
И мятая звезда с красноармейской пряжки  
мotaется в ночи, провисла над виском.

\* \* \*

Так птица воздух пьёт и солнце ловит в луже.  
 Так женщина идёт на лёгких крыльях ног.  
 Так я хотел бы жить – не лучше и не хуже.  
 Так я хотел бы жить – и никогда не мог.  
 Пусть женщина-дитя меня научит слогу,  
 как будто я немой и пальцами сучу,  
 как будто сорок лет ищу к себе дорогу,  
 а нынче отыскал – и видеть не хочу.  
 Что, Ева, что, жена? Опять приснился Авель...  
 Перевернись к стене, я тут, я сторожу.  
 Эдем отгомонил, на тропах конский щавель  
 и яблони в саду отряхивают ржу.  
 Непрошенная жизнь мне веки разлепила  
 две тыщи лет назад, и я перетерпел.  
 Я сеял и пахал, обстругивал стропила,  
 но кладку бытия закончить не успел.  
 Чем старше, тем душа бесстыдней и вольнее...  
 Я растерял детей и позабыл их след.  
 Целую жизнь мою! Останусь только с нею!  
 И губы разнесло, как в девятнадцать лет.  
 Всё – стыд, гордыню, страх – как рубище сдираю:  
 вот время простоты, смотрите, кто я есть –  
 соратник бытия, почти ровесник раю,  
 пометками Творца исчёрканная десь.  
 ...Чернее сапога, блестя холодной кожей,  
 река течёт во тьму – все мускулы внутри.

Ещё не Лета, нет, как будто непохоже,  
 на отмелях ещё играют пескари.  
 Молчание в полях, и не промыты звёзды.  
 И только над водой, раскрыв её до дна,  
 качается, стоит, воронкой кружит воздух,  
 и Божья высота в отверстии видна.  
 Какая боль в любви к живущим с нами рядом!  
 Какая боль в любви!.. И жалко уходить,  
 когда глаза ещё полны библейским садом  
 и хочется птенца на ветку посадить.  
 Спи, Ева, спи, дитя, вторая половина,  
 увечное ребро, два голоса – в одном.  
 На мне твоя вина. А женщина невинна.  
 И Каин по ночам проходит под окном.

\* \* \*

Я гляжу, а не вижу. Я слышу, но глух.  
Молодых забываю, а помню старух.  
Время веки неловкими пальцами трёт.  
Или – плачет? Да кто его там разберёт...  
То отец мне приснится, как прежде, чужой,  
то затёртые снимки окинутся ржой.  
Жили-были, потом передумали быть...  
Из какой же мне пыли вас нынче добыть?  
Я старей ваших старых, я всех перерос,  
мелекесская немочь, воронежский пёс.  
Вы опять мне бубните про то и про тех...  
Да сперва нафталином протрите мой мех!  
У, как Господи Боже, Ты мне подфартил:  
стиснул горло, кадык пятернёй ухватил!  
Вот я всхлипну и выкачу яблоки глаз...  
Уходите, где были, теперь не до вас –  
мне б остаточный воздух в дыхалку вобрать!  
Не мешайся, родня: я учусь умирать.

\* \* \*

Картошки высох цвет, и лета чётки сдвиги.  
Июля напряжён темнеющий висок.  
И ветер то влетит в растворенные риги,  
то щелкает в дыре обрезками досок.

Мне лишь закрыть глаза – и нежность наплывает.  
Вот свет меня нашёл младенческой рукой,  
и пальцем, как дитя, мне веки открывает,  
и ходит по лицу – я чувствую щекой.

«Мой сад, мой дом, мой свет»... Я повторяю это,  
чтоб не забыть, Творец, как мир счастливых мал.  
...Картошка отцвела, и забурело лето.  
И ветер перелаз в заборе доломал.

\* \* \*

Ни о чём с творением не споря  
и пустые шутки отшутив,  
я во дни и радости, и горя  
напеваю простенький мотив.  
В нем слова романса под гитару  
и его избыточная страсть:  
бестолковь, сплошные тары-бары...  
Только мне и это нынче в масть:  
все другие, видно, перепеты,  
или их успели разобрать.  
Самые обычные куплеты –  
впору под гармошку проорать.  
Но какая всё же в них утеха  
и печали светлая вода!  
...И опять припадочное эхо  
повторяет мне мои года.

\* \* \*

В любовной связке живший на паях,  
биллиардист, дитя дешёвки-славы,  
ходивший в слугах, но не в холуях  
излишне впечатлительной державы,  
он был, конечно, гений. До сих пор  
я не могу в завистливом восторге  
постичь циклоскопический напор,  
органный рык его словесных оргий,  
такого гнева и такой тоски,  
любовной страсти, бьющейся об стену,  
что, Господи, услышь, зажми виски,  
суди ему поспешную измену,  
чтоб замолчал, чтоб женщина-сосуд  
ему дала пустое облегченье!  
Чтоб оправдал его небесный суд  
и не менял ему предназначенье.  
Чтоб отпустила, вымучила та,  
не любящая, Осина до гроба...  
Но всё давно вернулось на места,  
и мы с Тобой, Творец, бессильны оба.  
...Нет мне любви мучительнее слов.  
Нет мне друзей испытаннее строчек.  
Нет ремесла достойней мастеров,  
чем золотое дело одиночек.  
Во всём они, великие, грешны.  
Но ни в одной вине не виноваты,  
когда они из времени слышны –  
биллиардисты, лицедеи, хваты.

\* \* \*

Вот на карточке, позеленевшей от времени,  
 Русаков, мой отец, в гимнастёрке, совсем молодой.  
 Смотрит, волосы щёткой, малость погуще на темени.  
 Сзади кто-то во френче, высокий и тоже худой.  
 Рядом Клава Овсянникова, это мама.  
 Косы венчиком, бледность, глаза в пол-лица.  
 Что за прелесть, ей-богу! Наверно, немножко упряма  
 и всегда в чём-то белом. Серьёзна – серьёзней отца.  
 Ну, бледна, но обычно, не туберкулёзно.  
 До плеврита ещё полстолетья, точнее – пять лет.  
 Всё возможно, и всё переделать не поздно:  
 сорок первый, каверны... Не переделаешь, нет.  
 Говорит моя мама в письме к моей бабушке – маме:  
 «Снова Геночка плачет, не знаю, что делать, беда.  
 Саша утром уехал к Савицкому по телеграмме».  
 Кто – Савицкий? Уехал – зачем и куда?  
 Он, конечно, вернётся. Наверно, учёба завкафедр,  
 конференция, слёт. Кончит, карточку заберёт:  
 это, видимо, были года групповых фотографий.  
 Он потом в одиночку под Ленинградом умрёт.  
 И тамбовские родичи в снимок войти были б рады:  
 дед ещё на Мазурских задохся в вонючей воде,  
 обе тётки не пережили блокады,  
 дядя... Но тот неизвестно где.  
 Встали рядом, глядят – ни упрёка, ни жалости.  
 Мол, такие у времени были дела.  
 И лишь бабушка умерла по старости:  
 схоронила всех – и умерла.

\* \* \*

В чулане шарит мышь по цинковым тазам,  
 сидит, на решете залатывает дырку.  
 Я примерялся сам, да труд не по глазам:  
 перекошил канву и положил впритирку.

Я мало что успел и понял на веку.  
 До взрослых не дорос, ну, а на кой я детям?  
 Замахивался мир перетащить в строку –  
 прождал, передержал, не выгорело с этим.

А всё же я любил его зверей и птиц,  
 хотя не знал в лицо и путал их названья:  
 всю эту божью блажь, всех пигалиц-синиц,  
 приبلудышей, родню без права проживанияя.

Ты зло шутил, Творец, – на что мне эта страсть?  
 Тебе и без того бы не было убытку,  
 когда б умел я брать, а не по зёрнам красть –  
 сморчок, ночная мышь, мусолящая нитку...

\* \* \*

Опять синоптики наврали:  
опять дожди, а не снега.  
А это вредно для морали:  
то день плюгав, то ночь долга.  
Благословенные погоды  
российской средней полосы...  
Но что пенять? И сушь, и воды.  
(И дни сомнительной красы).  
А лучше просто сменим тему...  
Читатель, как тебя зовут?  
Я напишу тебе поэму,  
в которой буковки живут.  
В ней больше никакого толку.  
Она нужна, чтоб в хмурый день  
под одеялом втихомолку  
читать всю эту дребедень.  
А после выбраться наружу,  
вздохнуть и тапочки надеть.  
И упереться взглядом в лужу...  
Да так весь день и проглядеть.

\* \* \*

Уже я был. Уже мне было имя.  
Уже я делал мелкие дела.  
И вышел в рост с погодками моими,  
чтоб стать как все природные тела.  
Но я пока осваивался в мире,  
и плохо знал его в такой поре  
по бабушкиной встрёпанной псалтыри  
с великими гравюрами Доре.  
Наощупь он казался очень плотен –  
с крупозаводом, с выводками кур,  
с артелями брезентовых полотен  
и прочих небольших мануфактур.  
Роились звёзды в безразмерной яме.  
За Мелекессом крепили зелена.  
А мир стоял с вздетыми бровями  
и всё ещё рассматривал меня.

\* \* \*

...А в августе длинны последние жары.  
В березниках кишат червивые маслята.  
И беспричинно злы ночные комары,  
и пахнет на износ стареющая мята.

Но если подождать, и позже выйти в сад,  
и посмотреть во тьму совсем особым взглядом,  
то видно, как, светясь, антоновки висят  
в остаточном тепле, как фонари, над садом.

А если глянуть вниз, под ноги темноты,  
увидишь, как от слив, к Суясовым, к забору,  
прокладывают ход упорные кроты,  
прикидывая, где вести на выход нору.

Да, Господи, не зря я, видно, жил,  
раз Ты мне разрешил такую силу зренья,  
и слух, что слышит хруст глубокорудных жил,  
и мой звериный нюх на запахи творенья!

\* \* \*

Жизнь вот-вот оборвётся, как нота счастливого пенья –  
солнце хлещет в лицо и восторгом залиты глаза.  
Жарко мне от задора и весело от нетерпенья...  
Снова за Поддубками готовится рухнуть гроза.  
Я простой человек и вживаюсь в дарёное лето,  
в пылкий лёт занавесок и полдень небритых шмелей.  
Солнце хлещет в лицо, обдаёт колыханием света:  
ну, поддай ещё малость, ну, шибче, бойчей, веселей!  
Вот касатки стрекочут, сужают над садом раскаты.  
Жизнь моя, ну а если вся эта горячая блажь  
лишь привиделась нынче в окошке лечебной палаты,  
потому как поверишь – уже никому не отдашь?  
Я и так напоследок нелепо о счастье тоскую  
и в подробностях помню проломные наши дожди  
или просесть травы и садовую спелость такую –  
укрупнение яблок, прогал над рекой впереди?

\* \* \*

Суть не в названиях – в светосиле глаз.  
В их ненасытной жажде удивленья:  
чтоб видеть мир, который напоказ,  
и тот, который разобщён на звенья.  
Боюсь, вот-вот наступит мой черёд –  
и для меня творенье станет серым.  
И я уже провижу наперёд,  
как время усыхает по размерам.  
Я буду в нём придумывать слова  
такой расцветки, чтобы жарко глазу...  
Жена в своих пророчествах права,  
но дай-то Бог, чтоб мир потух не сразу,  
чтоб я успел освоиться, начать  
в прикосновении нежнее ласки  
пупырышками пальцев различать  
его полуутраченные краски.

\* \* \*

...А по утрам в кагале электрички,  
в дорожном быте родственных людей  
мы спорим – но, скорее, по привычке –  
о сущности тантрических идей,  
о ножках Буша, о размерах мира  
(но он и без размера хоть куда).  
А там, снаружи, ветрено и сыро.  
Бежит вослед продрогшая звезда.  
Там грозный быт готовится к разборке,  
уже гремит своим инвентарём.  
Конечно, дело не дойдёт до порки,  
но оплеух от жизни наберём...  
Нет, не хочу! Проеду остановку,  
сойду в Коломне или в Сандырях,  
где поезда берут на формировку  
и привечают всяких растерях,  
которые извечно виноваты,  
чего-то не додали и должны,  
с рожденья по-российски виноваты,  
поскольку из наследственной шпаны.



Нет, не с тобой, читатель. Но прибрать  
в своём хозяйстве и увидеть ветер.  
Живущие, примите мой поклон!  
Вы, старики, двужильное терпенье,  
упрямые, как высохший репейник.  
Вы, женщины, калёная лоза,  
но плачущие с лёгкостью ребёнка  
и принимающие жизнь  
как долгожданный груз мужского тела:  
прогнуться и вобрать его в себя, стать им –  
и понести в блаженности зачать.  
Вы, мужчины, охотники, защитники, кремь,  
с бессмысленностью яростных детей  
крушащие железом древо жизни,  
посажённое вами – всем вам, всем  
спасибо, что вы жили на земле!  
И я там жил.  
Вы помните, как мы кричали в страхе,  
когда Творец свалил нас в пыльный сидор  
и, приподняв над временем, потряс,  
потом рассыпал по нему горстями?  
Как был горяч расплавленный песок,  
и на лету обугливались птицы,  
а мы, с нерасщеплёнными глазами,  
своих имён не знали, и слова  
наощупь называли нам творенье...  
Так начиналась наша жизнь. Моя.  
Всё остальное просто продолженье.

\* \* \*

Когда благопристойное веселье  
вершится в небесах под клавесин,  
я предаюсь губительному зелью  
среди родных растений и осин.  
Но всё же для причастности к народу  
в желаньи слиться или встать в ряды  
хотелось бы использовать погоду  
для коллективной праздничной балды.  
Ах, Бокарини, выйдем на лужайку,  
тряхнем, как говорится, стариной:  
под клавесин добавим балалайку –  
и пляс тогда пойдёт совсем иной!  
Такое тут поднимется-взовьётся,  
такой тут будет выпад и отпад!  
...Нет, хорошо под праздники поётся!  
И каждый сам себя услышать рад.

\* \* \*

Устало уходили облака.  
Дымилась колея. Текло со склона.  
И десятиминутная река  
входила в неподвиженное лоно.  
А гром ещё орешники качал  
и по краям обкатывал округу,  
портновскими мелками размечал,  
куда ударить кием, чтобы в угол.  
Вот неуёмный! Туч почти что нет,  
а он опять грохочет сапогами,  
пугает нашу яблоню-ранет  
и ходит по околице кругами.  
Я глянул в окна: ба, да вот он, вот!  
Совсем пацан, подростковый загрибок.  
И морщит лоб, листая свой блокнот..  
Наверно, расписание поливок.

\* \* \*

Шестёрки, фраера, мальки в садке Господнем...  
Я всех вас пережил, мне голо на земле.  
Я только сидор снял, я только веки поднял –  
а вас уже смело, и дым потух в золе.  
Где дом не для меня? Где ветер возле тына?  
Где галочье перо, глаза для жадных слёз?  
Где мать на холоду, поверх прощаний сына?  
Приблудная печаль и сень её волос?  
Все грозы на восток, все шпалы до Рязани.  
Слюдой проложен день, и грузны поезда.  
А нас никто не ждёт, и мир не нами занят.  
И смотрит мимо нас из птичьего гнезда.

\* \* \*

Что так горишься, ива-ракита,  
распустила по ветру власа?  
Или старая боль не забыта?  
Или новой пришла полоса?  
Или просто в печаль загляделась –  
в тихий омут, как в душу мою?  
Мы давно друг у друга в полоне,  
так что поздно нам в игры играть.  
Мы с тобой во втором эшелоне,  
мы не самая нужная рать.  
И всегда в стороне от дороги,  
где-то сбоку, в отдельном строю.  
Видишь, вон я один среди многих –  
на отшибе, на самом краю.

\* \* \*

Комарики на дудочках дудят  
и щёки от усердья надувают,  
как будто все вокруг на них глядят  
и даже поимённо называют.

И мне весьма приятен этот зуд –  
язык общенья высших насекомых,  
что на себе творение везут,  
не зная истин, обществом искомым,

не различая ни добра, ни зла  
и относясь к ним, в общем, безразлично:  
как в массе (с точки зрения числа),  
так и в отдельном писке (то есть лично).

Комар, он что? Он кровь мою попьёт,  
отыщет помещенье небольшое –  
и глядь – опять на дудочке поёт..  
Конечно, кровопивец, но с душою.

\* \* \*

...А где та ярость, что меня кружила?  
Где жизнь моя – подкова из огня?  
Где время, напрягающее жилы,  
подогнанное точно под меня?  
Цифирью лет оно меня пугало,  
а я ему не верил – не хотел.  
Я жил в ту пору в гомоне кагала,  
в мельканьи дат и мельтешеньи тел.  
Потом прошло – и ярость, и мельканье.  
Цифирь осталась, больше не важна.  
А время, словно поределой тканью,  
трясёт метелькой в прорези окна.  
Жить хорошо. Хотя порою глупо.  
До слёз привычно, до восторга зло.  
...И за окном вращеньем хулохупа  
метёт январь, двадцатое число.

\* \* \*

Погожий день, просторное гляденье.  
Сухое время опустелых дач.  
И облаков пролётное гуденье –  
как от высоковольтных передач.  
Я воздух пью сквозь стиснутые зубы.  
Подрагиваю ноющей ногой.  
А солнце низко, словно голос тубы.  
И кто-то рядом скажет: «Дорогой»...  
А никого. Кому же я так дорог?  
Кто звал меня? Смотрел в моё окно?  
Наверно, это просто тихий морок.  
Всё без меня до срока решено:  
любви моей несбывшиеся даты...  
Любимых золотые голоса.  
Я ухожу, и слышится: «Куда ты?».  
И – никого. Лишь в небе полоса.

\* \* \*

Вы живите, а я не помру:  
мне нельзя, потому что при деле.  
Я на этой земле ко двору,  
хоть семь пятниц у ней на неделе.  
Белый свет из потёмок не мил.  
И душа на полатах ночует.  
Но творенья железистый ил  
все земные обиды врачует.  
Погрузнела и портится плоть.  
И лицо безутешнее лика.  
А кому мои грядки полоть?  
Жизнь опробовать методом тыка?  
Мне ещё не пора на вокзал –  
мы такого тут понавтыкали!  
...Кто-то где-то однажды сказал:  
– Старость – знание по вертикали.

\* \* \*

Вышел – утро в сизой дымке.  
И позёмка по снегам –  
будто тени-невидимки  
мелко ластьются к ногам.  
День – одно сплошное чудо,  
как бывает в десять лет:  
будто выпал ниоткуда,  
будто краше просто нет.  
И живётся, словно пьётся  
этот воздух ледяной.  
И парок дымится-вьётся  
беспредметно надо мной.  
Эй, смотрите, как мне звонко,  
как мне хрустко и легко!  
Как дрожит на крынке плёнка –  
это утро-молоко!

\* \* \*

Трещит в сарае дранка  
и, отгорев едва,  
в полях у полустанка  
раскидана ботва.  
Вон вялые моркови  
в межрядях лежат.  
И от свекольной крови  
приезжие дрожат.  
Но всё ещё в начале,  
и не пережиты  
высокие печали  
различной высоты:  
что, мол, тепело лето,  
что обезлюдел тракт.  
Хотя, признаться, это  
совсем ещё не факт.  
И самый этот довод  
не каждый извинит,  
пускай и тонко провод  
на чашечках звенит.

\* \* \*

Сырое лето. Вымокли грибы.  
На грядках почернели помидоры.  
И наши сливы – страшной худобы  
среди разгула бесполезной флоры.

Похоже, нам варений не варить.  
Всё б ничего, но эта слякоть, слякоть...  
А я-то крышу думал перекрыть,  
к Андреичу собрался покалякать:

что ж в телевизор пялиться до слез?  
(К тому ж, плохая первая программа).  
Но льёт и льёт, и сад вконец зарос,  
и в масле проржавела пилорама.

Не держит глина – в подполе вода.  
А выше неба, из-за хмари влажной,  
как будто вифлеемская звезда,  
помаргивает промельк фюзеляжный.

\* \* \*

Мне снится мама из того столетья,  
на снимках остающаяся там.  
И ветер плещет понизовой плетью  
по мелекесским брошенным местам.  
Там что-то происходит или длится.  
А нас там нет. Те окна не для нас.  
В них светятся возвышенные лица.  
В бесхозном доме не отключен газ.  
Как хорошо в моём вчерашнем мире!  
Я в нём ещё, наверно, не забыт.  
На абловской оставленной квартире  
всё так же длится непрожитый быт.  
А месяц май, сезонно холодая,  
то ровен, то дождями засбоит...  
И мама, беззащитно молодая,  
стоит и смотрит. Смотрит и стоит.

\* \* \*

...Но встанут жёлтых солнц растянутые дуги,  
сверкнут в прищуре глаз, отпрянут выше слёз...  
Всё только началось – как обещалось, други.  
И воздух на разлив похож на купорос.  
Нам пишут, к нам спешат, нас ищут в интернете.  
Нам руку на рукав просительно кладут.  
И у кого-то мы, похоже, на примете:  
нас, выйдя на перрон, вторые сутки ждут.  
А нас всё нет и нет. Мы всё не приезжаем.  
Совсем не кажем глаз. Не смотримся в окно.  
Мы всё ещё растём отдельным урожаем,  
по вторникам глядим районное кино.  
Внезапные дожди бросаются нам в ноги.  
На нас сезонный спрос, а мы ещё не тут.  
Мы до сих пор, друзья, замешкались в дороге...  
Для нас ещё во всю гортензии цветут.

\* \* \*

Однажды утром в раннем октябре,  
сухом и звонком, как удар ракетки,  
спеша, остановиться на бугре  
и вдруг увидеть шевеленье ветки.  
Взглянуть наверх – и ахнуть, обмерев:  
там облака немислимых расцветок  
плывут, плывут над крышами дерев,  
над ворошеньем воробьёв и веток!  
А дальше птичьи перья и леса,  
одетые в небрежные одёжи...  
Привычные как будто чудеса,  
а всё равно от них мороз по коже.  
Мир немудрён.  
В нём плещется вода  
и ходят травы маленького роста.  
Но ведь не зря сказал Сковорода:  
«Хорошее всегда у Бога просто».

\* \* \*

Что так время поглядело,  
оглянулось на бегу?  
Я своё простое дело  
исполняю как могу.

Ремесло мастерового,  
две руки, надомный труд...  
Всей работы – слово, слово.  
Слово делом не зовут...

Я иного не умею,  
получаю по трудам.  
Я дохода не имею –  
что платил, за то отдам:

за три корки возле Горки,  
за пролёжанный сундук,  
за сержантские каптёрки  
и четырнадцать разлук.

За худую птичью стаю,  
ложку уксуса к питью.  
Что там дальше – не считаю.  
Дальше чохом отдаю.

Строго время поглядело.  
У него такой настрой.  
Только слово – тоже дело.  
Очень страшное порой.

## БУДЕМ ЖИВЫ

*На горе-горушке  
дрались побирушки,  
хватъ друг друга за виски –  
«Отдавай мои куски!».*

Припевка

1

Вся Россия горит – нынче столько пожаров!  
И копченьем ракушек пропахла река.  
На афишке у клуба – улыбчатый Жаров.  
И трофейные ленты, и стрёкот движка.

Мы идём по земле, мы несчастны и лживы –  
семилетние урки, фартовая рать.  
Ради сущего хлеба, не ради наживы,  
шуровать по «скрипухам» и в нежном тифу умирать.

Ой, страна, как нас жарко с тобою спаяло,  
милицейским свистком охлестнуло судьбу!  
Дотлевет Ростов и дымится Каяла.  
Печенег готовят ночную татьбу.

Я запутался, мать, среди дат и столетий:  
все пожары похожи, и пепел горяч.

И идут по земле, всё идут золотушные дети...  
Отвернись и не помни, так тихо, так горько не плачь.

2

Я, товарищ старшина,  
маленький.  
Мне б, товарищ старшина,  
валенки.

Мне тепла чуток  
хочется.  
Получила срок  
мать-наводчица.

3

Что видит слух, когда оглохло зреньё?  
Пойду усну на глине пепелищ.  
Вот плоть моя, и я не просто нищ –  
я нынче гол, как в первый день творенья.

Кого ты слушаешь, опомнись, Иов?  
Здесь ты да я. Я сир, а ты безгласен.  
И не слова – одни подобья слов  
бормочет ночь и темнотою гасит:

«Гляди, малец, как подают слепой!  
Ты плачь погромче да пожалыче пой».

4

Ой, ты, мама-родина,  
тополинный лес!  
В сумраке смородинном  
город Мелекесс.

Что-то нам загадано?  
Глянем-пождём.  
Травы пахнут ладаном,  
кровью и дождём.

5

Сужаются вагонные облавы.  
«Майданники» сигают на ходу.  
Темна судьба, и нету в жизни славы.  
Я тоже вслед за ними упаду.

Родная мать меня с травы поднимет.  
Я в дом войду и братьев полюблю.  
И на скамейку сяду между ними,  
фартовой папироской задымлю.

Но как ты зла, судьба моя, Россия!  
Как ест глаза твоих пожарищ дым!  
И безутешны дождики косые.  
И горько быть приёмышем твоим.

\* \* \*

Двухдневной наледи вода  
блестит от ближней водокачки.  
В самозабвении труда  
с реки стучат вальками прачки.

Дымы восходят в высоту.  
Гремит бутылками палатка.  
И день сосулькою во рту  
готов растаять без остатка.

А за садами даль светла,  
хотя в дому забухли двери.  
Дожить бы, Боже, до тепла..  
А там не тронешь. Не поверю.

\* \* \*

Зимой стихов никто не пишет.  
Зимой душа в овчинку дышит.  
И ноги стыннут на ветру.  
Зимой с утра дорога на ночь,  
стучит клюкой Мороз Иваныч,  
а солнце плавает в пару.

Зимой иные расстоянья.  
Зимой то лепка, то ваянье,  
окостенелая вода.  
Зимой нам, в общем, мало надо:  
тепло в доме, дыханье сада...  
Очёсок счастья иногда.

Но это, впрочем, даже лишне,  
когда стоят за домом вишни  
в такой простынной тишине,  
что слышно за три километра  
смещения крошечного ветра  
и перебежки по стерне.

\* \* \*

Когда моя Россия-география  
легла на карту, придавив масштаб,  
она ни тем, ни этим не потретила –  
ни тем, кто грозен, и не тем, кто слаб.

Таких пространств нельзя принять без ропота,  
смириться с тем, что там наружу прёт  
опроверженьем знания и опыта...  
И столько обещает наперёд!

И то сказать: страна всего лишь начата.  
На карте – расстоянья без дорог:  
как жизнь моя, набросанная начерно,  
ещё не угадавшая свой срок.

Нам всё в строку зачтётся доброхотами.  
И каждый прыщ поставят нам в укор.  
А мы, судьбу не отягчая счётами,  
растём  
самим себе наперекор.

\* \* \*

О чём между собой беседуют коты?  
Что говорят о нас, обнюхавшись, собаки?  
Как зародился свет в утробе темноты,  
и кто прочтёт судьбы мучительные знаки?  
Что значит «электрон»? Откуда взялся ток?  
Вот телефон звонит и говорит: «Я Таня...».  
Невещный этот мир, увы, ко мне жесток  
и в частности своих, и взятый в сочтаньи.  
Я в нём за долгий век не понял ничего.  
Хотя при всём при том я был среди счастливых,  
когда одуревал от милостей его  
и ковырял камедь на отпотевших сливах.  
Я очень уважал трёхзначное число...  
А прочее терпел и принимал на веру.  
Да, я не понимал, откуда что пошло.  
Благословенны те, кто миру знают меру!  
Наверно, мне и впрямь всё это ни к чему...  
Оно так веселей – восторг и удивленье!  
Я даже смерть мою по-братски обниму...  
Хотя она всего случайное явленье.

\* \* \*

Я к тебе приеду в среду,  
сяду рядом у окна.  
Чтоб ловчей начать беседу,  
выпью красного вина.  
А в окошке день с прищуром.  
Ветер листья пронесёт,  
растопырит перья курам.  
Дождик ситом потрясёт.  
Ты мне скажешь: «Я любила...».  
Я отвечу: «В добрый час».  
Это правда, это было.  
И закончилось у нас.  
Я приехал по привычке.  
Пью вино, сижу, курю.  
Втихаря ломаю спички.  
Ничего не говорю.

\* \* \*

...Но пригодилась жизнь такой, какой была!  
Мне всё в строку и каждый камень в кладку:  
и то, что возле дома петела  
друг другу раскровянили сопатку.  
И то, что день качается в пару,  
и обретает капля тяжесть плоти.  
И то, что я когда-нибудь умру,  
а вы меня когда-нибудь прочтёте.  
Не нам решать, какому слову – в рост,  
кого услышит время с полукрика.  
Но всё в строку! А я хрипатый дрозд,  
клюющий утро в середину блика,  
целующий судьбу мою в глаза,  
роняющий слепые крошки света –  
не за прокорм, Творец, а просто за  
вот эту гуттаперчу бересклета...

\* \* \*

Пойду перечитаю Кабыш Инну –  
там зрелость мысли и мужанье слов.  
Мне этого хотя бы половину –  
и я бы стал работать без узлов.  
С годами видишь горестней и проще,  
как тратится исходный капитал...  
И то, как снова обнищали рощи.  
И то, кем ты хотел бы, да не стал.  
Не получилось. Не хватило злости,  
горячности, дышалки, простоты...  
Хребет не вынес – проседали кости.  
...Опять сады отчаянно пусты.  
Опять им спуск до самой нижней выси.  
В них третий год такая нагота,  
что не хватает мне ни слов, ни чисел,  
чтоб обиходить стыдные места...

\* \* \*

...И коровы, наверно, на небе у Господа есть –  
там нельзя без коровы, поскольку ребёнки и дети.  
Хоть, возможно, скотине отдельное место и честь:  
где-нибудь на восьмом, на вполне уважительном свете.  
Ты возьми меня, Боже, хотя бы к себе в пастухи,  
чтоб ходить мне за стадом по тучным лугам Елисея,  
распевать Тебе славу, порой облакая в стихи –  
не боля, не старясь. И даже почти не лысея.

\* \* \*

«Ни о чём не просить, не учить, не являться примером,  
быть не первым, но третьим, молчать,  
не искать похвалы...».

Сколько я этих правил оставил в блокнотике сером,  
рижской кожи с тиснением, где рано затёрлись углы!  
Я влюблялся в поэтов совсем невысокого роста,  
обходя великанов – по малым размерам души.  
Как же медленно сходит проклятая эта короста –  
стыдной робости духа и тяга служить за гроши!  
Как мне долог мой путь и обрыдли полезные книги!  
Мне бы памяти, воли, просевшего дома в Горах,  
чтоб вернуться ко мне мелекесские урки-барыги,  
под гитару запели и тут же рассыпались в прах;  
чтобы страстное зренье с его семикратным охватом,  
в детской жажде познания сокрытых пружин бытия,  
вспламенилось любовью и каждый увиденный атом  
согревало, как будто в нём спрятан незачатый я;  
чтоб навстречу, к себе, из покорности, блуда и страха  
продираться сквозь время, отшвыривать локтем года;  
чтоб каштановым пеплом сгорела на теле рубаха  
в пьяном укусе пота и честном запале труда;  
чтобы имя сказать и назвать этот мир в одиночку,  
всё отдать, не запомнить, Творцу и творенью грозя  
за какую-то малую, хилую, смертную строчку,  
без которой на свете мне жить почему-то нельзя...

\* \* \*

...И пасмурного дня невыносимый блеск  
(почти до рези глаз), и плачущие окна.  
И поливной комбайн под отдалённый треск  
на пойме проволок блестящие волокна.

Я пробую смотреть, не разжимая век,  
сквозь тонкую плеву, промасленную потом,  
и вижу двух ворон, неловкий их разбег  
с подскоком на крыло и полуразворотом.

(Я, Господи, люблю весь этот нежный сор –  
детали, пустяки, копеечные кроки.  
Без этого стихи – как кузов без рессор,  
и провисают строки).

А те уже летят на старческих крылах,  
неряшливым пером к пространству прилегая,  
в полметре от земли, поверх пилёных плах...  
И тень за ними гонится нагая.

\* \* \*

Всё чаще звёзды валяются в овраги,  
прочёркивая тьму на небесах.  
И так ночами плотен запах влаги,  
что даже остаётся в волосах.  
Мир заселён разноразмерным людом:  
кто высоко, кто рядом на земле.  
Он изнутри гудит горшечным гудом,  
который часто слышится в селе:  
вселенский бас, труба Иерихона,  
катающая звук перед собой, –  
подобье акустического фона,  
что по расцветке густо-голубой.  
Мой добрый мир из детских сновидений,  
придуманный конкретно под меня –  
с механикой касаний и глядений...  
Но уходящий с наступленьем дня.

\* \* \*

Ах, Господи, там яблони цветут  
тяжёлыми махровыми цветами!  
И пчёлы, пролетая, даже тут  
смеются перепачканными ртами.

А что я им? Я даже не пчела.  
Я просто вляпан в патоку творенья.  
И надо мной гудят колокола,  
и Ты читаешь мне стихотворенья.

Нет, побегу за ветром, улечу  
осотом за сухими пауками!  
Вон Ты опять проходишь по лучу,  
нестрашно балансируя руками...

\* \* \*

Город лживый, нелюбый, немилый –  
пивзаводы, Литейка, пруды.  
Три давно безымянных могилы,  
похоронка, четыре беды.

Всё, что было, – уместится в горстке.  
Всё, что мог, – разметал по песку:  
эту жизнь по сиротской развёрстке,  
эту зависть к чужому куску.

Эти пьяные липы горсада,  
этих чайных татарский содом...  
Даже помнить об этом не надо –  
как-нибудь, перед смертью, потом.

Так зачем запоздалое зренье  
поимённо пруды узнаёт?  
Про убогую ложь возвращенья  
мелекесская память поёт.

Видно, нет моей силы и воли,  
чтобы жизнь разметать по песку.  
И не все разновидности боли  
я успел испытать на веку.

\* \* \*

Придти домой, где всё стоит на месте,  
где прочен мир на одного лица.  
И крошечные радостные вести  
для каждого конкретного жильца:  
цветок зацвёл, хотя стоял в отказе,  
нашлась тетрадь, которую искал.  
А день, с утра порядком безобразен,  
погодюю под вечер обласкал.  
Всё может устаканиться к субботе...  
Обычно так, а нынче, может, нет:  
тут всё зависит от капризов плоти  
и от взаимодействия планет.  
Они ведь всё за нас решают вместе:  
начало дел и дальше, до конца.  
...Придти домой, где крошечные вести  
для одного конкретного лица...

\* \* \*

Немного выпивший, немного окоселый,  
счастливый без причин на ближних полчаса,  
надену-ка пиджак с искрою бледно-серой  
и от сезонных стуж прикрою телеса.  
На что душе пиджак? Душа иная зона.  
Душа всегда при деле, на посту.  
Да вон она торчит у пятого вагона,  
поскольку у меня купейный на Читу.  
Читать в Чите стихи чувствительным читянкам –  
ура, восторг, даёшь, вперёд, электровоз!  
Ужо я там пройдуь осатанелым танком  
и зачитаю всех до холода волос!  
До обмельня рек, до хрипоты гортани!  
До хлюпанья в носу от нежной теплоты...  
А дальше будет дней привычное шатанье.  
И времени слегка забытые черты.



\* \* \*

Неуверенной зеленью мая  
обметало по кромке леса.  
Из лукошка траву вынимая,  
Бог тихонько творит чудеса.

Хорошо Ему нынче на воле!  
Бросит взор – зазвенят бубенцы,  
запорхают летучие моли,  
затанцуют в пруду плавунцы.

Сядет дома Господь у окошка –  
и ничем ему мир не в упрёк.  
Он возьмет пирожок из лукошка  
и надкусит его поперёк.

\* \* \*

Мне нравились высокие названья –  
фамилии, места и города,  
таившееся в них очарованье  
(давно когда-то, в прежние года).  
К примеру, Каракалла, Гваделупа,  
маркиз дель Монт, Доре и Лангедок...  
Я понимал, что это просто глупо,  
а вот поделывать ничего не мог.  
Я, впрочем, всех объединял по-братски:  
тирольский йодль, Ла Плата, Россиньяк.  
И рядом с ними – Иоанн Кронштадтский,  
который местный и к тому ж моряк.  
А я был шкет и ничего не значил.  
Но всё равно без логики и схем  
я для себя языкознание начал  
с нелепых, но восторженных лексем.  
Мне те слова какой-то нежной боли  
вещали про нездешние края,  
где всё не так и веет ветер воли...  
Где чья-то жизнь, уже почти моя.  
И чем бы дни меня ни отягчали,  
я знал за много тягот наперёд:  
меня утешит Матерь Всех Печалей  
и все мои печали заберёт.

\* \* \*

...А ночью встанешь – и к бумаге.  
И, боже мой, какая честь:  
творенье сразу в полушаге.  
И всё путём, и всё в нём есть.  
Как чётко помнится и ждётся,  
как суть всего недалеко!  
И как осмысленно кладётся  
потяжелевшая строка...  
Но всё равно в потёмках жалок  
внезапно сузившийся мир –  
до мелекесских коммуналок  
с их духом высохших просвир!  
Что день забудет – ночь отыщет.  
Но как мне всё же перестать  
бояться дуры-темнотищи,  
синодик детства не листать?

\* \* \*

Как меняется колер земли  
с переменной сезонной погоды!  
Суше, жёстче... И даже вдали  
стали чёткими голые воды.  
Так с годами строжает душа,  
отболев пароксизмами роста.  
И уже никуда не спеша,  
видит жизнь и печально, и просто.

\* \* \*

Во вшах, в позоре, в небреженьи –  
библейский Лазарь, нищ и сир, –  
я шёл, и головокруженьем  
меня качал тифозный мир.

Борисоглебск, моя планида!  
В пуху кипят твои сады.  
Как злы, пустынно, дики видом  
пристанционные ряды!

Какой разор! Какой разрухой  
несёт от выцвевших досок!  
Июльский тлен пластами пуха  
течёт к земле наискосок.

Пора. Прости, голодный город  
случайной радости. Уже  
железом бешеным распорот  
закат на дальнем рубеже.

И брошен третий деприёмник,  
и сквозь разъездов рёв и свист:  
«Шпана, охальщина, бездомник!» –  
мне вслед кричит телеграфист.

Пускай его. Уже ни страху,  
ни злу  
над нами власти нет.  
Гремит состав и ломит смаху  
в тифозный мой, в прекрасный свет.

\* \* \*

Покуда живы любящие нас –  
мы не одни и нас жалеть не стоит.  
А что до одиночества на час,  
так это всё, по совести, пустое.  
Опять кипят за домом дерева  
и обрастают вишни первой плотью.  
Там жизнь идёт – она всегда права,  
с лица отводит волосы щепотью.  
На что я ей среди такой родни?  
Я косточка, совсем ещё худая.  
Но обернись, прислушайся, взгляни,  
глазами на меня не попадая!  
Желанная, ты дай, а я возьму.  
Ты посули, а я тебе поверю.  
И силой роста ветку подниму.  
Её длиной творение промерю.

\* \* \*

Лжецы моей земли сигают по вагонам.  
В моей стране сирот пропели поезда.  
Я выжил, нет – дожил, и поздним перегонном  
вернулся сам к себе: из времени – сюда.  
Ничто не навсегда. Крапива пахнет щами.  
И злобой перемен налиты фонари.  
Из памяти кричат: «Построиться с вещами!».  
Построиться – кому? Не понял, повтори..  
Сиротство – резь в глазах от сажи и окалин.  
Столетье под рядом взбухает из квашни.  
Чуть руку приподняв, стоит товарищ Сталин  
и песни мне поёт про яростные дни.  
Так плачется в ночи, так верится и ждётся!  
Так плачется в ночи и ждётся в десять лет!  
А как тебе, шпана, в судьбу твою идётся,  
воронежская вошь, опёнок, шпингалет?

\* \* \*

В феврале закалим семена,  
чтобы лучше росли помидоры:  
нынче ранняя будет весна  
на селе под названием Горы.  
И поэтому калий в золе  
с добавлением суперфосфата  
очень даже потребен земле,  
потому как она небогата.  
Но увы, мой хозяйственный зуд  
отзудит с приближеньем апреля.  
Удобренья в поля повезут.  
Слезет с печки весёлый Емеля.  
Станет небо в раскачке гудеть,  
словно колокол, звук набирая.  
И куда тут, по совести, деть  
трёхметровую тень у сарая,  
перепрелую кучу ботвы,  
дотлевающей возле лабаза?  
И гуденье поверх головы,  
не утихшее с прошлого раза?

\* \* \*

У отца моего не было ни орденов, ни медалей,  
потому что его убили  
в самом первом бою:  
где-то под Ленинградом,  
где автоматчиков на прорыв кидали –  
добровольцев, партийцев, детскую гордость мою.  
Пусть я буду у времени как незажившая рана:  
снова папа мне снится, о чём-то со мной говорит.  
Он приходит ко мне,  
как когда-то Чапаев с экрана:  
перехват португали и орден упрямо горит.  
Как ни силюсь, я слов его не разбираю:  
– Папа, громче, не слышу! –  
И не прочесть по губам.  
– Папа, я уже старый, уже по зерну добираю! –  
Нет, не понял, уходит к себе по гробам.  
Ах, какие мы видели времена и события!  
Как себя раздирали, костями мостили мосты!  
(Вот когда научился с голодными суками выть я...  
Оттого они выли, что кости у нищих пусты).  
Всё со мной можно сделать:  
я слабый и плачу от боли.  
Я убью ради хлеба и ближнего оклеветшу.  
Но я всё же  
тот воин, который – один в своём поле.  
Я умру, но на поле

к себе никого не пущу.  
Папа, я о тебе ничего, кроме снимков,  
не знаю. Я не помню ни речи,  
ни воздуха, жившего в ней.  
Только общая кровь –  
это общая память сквозная.  
То, что ты мне оставил,  
любых фотографий нужней:  
делать жизни простое, мужское, честное дело,  
умирать, если надо,  
свой кров заслоняя спиной,  
потому что  
когда у солдата осталось лишь тело  
телом он закрывает  
всё то, что зовётся страной.  
Папа, больше не надо  
ко мне прорываться ночами.  
Я у зеркала встану – и сразу тебя узнаю.  
Я ведь всех вас увижу  
(мне скоро на выход с вещами) –  
добровольцев, партийцев, детскую гордость мою.

\* \* \*

Не надо вещих снов – оставим их пророкам,  
придумаем себе неспешные дела.  
Уже несёт листву по стынущим протокам,  
хотя душа опять зачем-то весела.  
Грядут большие дни и шаткие прогнозы  
насчёт сухих погод с качанием небес.  
Похоже, что пришла пора спокойной прозы,  
а лирика совсем утрачивает вес.  
Но видно далеко, и неприлично голо,  
поскольку глаз ещё к пространству не привык.  
Мне хочется не слов, а важного глагола  
от умственных мужей и неотложных книг.  
Меняется мой мир, готовясь к новым срокам.  
И я покуда с ним ещё рука в руке.  
Но понесло листву по стынущим протокам.  
А лирика и впрямь сегодня налегке.

\* \* \*

Время пахнет высокой тоской.  
Странно жить перед встречей столетий:  
потянулся – и тронешь рукой.  
И они беззащитны, как дети.  
Нежной плёнкой закрыты зрачки,  
и невнятного рта бормотанье.  
Все столетья, Творец, груднички.  
Остальное – вопрос воспитания.  
Но увидеть хотя б только раз,  
как раскроется и отдалится  
изумлённый творением глаз,  
различая предметы и лица!

\* \* \*

Тебе, страна моя, Расея,  
сегодня нужно Моисея –  
гнать нас тайгою сорок лет,  
чтоб честно на лесоповале  
своё холуйство изживали,  
ища того, чего в нас нет.

А с тем, что будет, мы знакомы:  
опять чека, цека, ревкомы,  
большой хурал и время вспять.  
И в пляску кинутся парторги,  
грядёт пора расстрельных оргий  
и лозунг «Сорок лет – за пять!».

Эх, дорогие человеки,  
давайте вновь запрудим реки  
и всё, что можно, запретим!  
Американцам вставим клизму  
и по дороге к коммунизму  
однажды в космос улетим.

А те, кому не хватит места,  
в порядке дружеского жеста  
нам вслед поднимут красный флаг.  
Потом перегородят Лету.  
Отправят рапорт Моссовету.  
И спешно выстроят Гулаг.

\* \* \*

...Но как отчётливо и резко  
предметы в сумерках видны:  
река с её латунным блеском,  
дома с лесистой стороны.  
И всё прописано с нажимом,  
с упором жёсткого пера –  
одним движением пружинным,  
так общепринятым вчера.  
И вот уже подробным светом  
иглисто светят фонари.  
И блеклый флаг над горсоветом  
кричит: «Прохожий, посмотри!».  
Смотрю. Хозяин съёмных лодок  
лежак поставил на дыбы,  
следя за крупами молодок,  
и ждёт решения судьбы.  
Ларёк грохочет стеклотарой,  
пока ещё не разлитой.  
И я, совсем ещё не старый  
по той шкале (но лишь по той!),  
с которой жду прихода ночи,  
коротких снов на семь грошей...  
...А день уже смежает очи,  
устав от нас и алкашей.

\* \* \*

Всё забывается. Не разглядеть лица  
моей любимой, матери, отца –  
истаяло, истёрлось, поредело  
теперь уже, наверно, до конца.  
Душа отныла, отболело тело.  
Чего искало – тоже отхотело.  
Родимые, не помню никого.  
Вас череда, а мне какое дело,  
кто был за кем, какое нам родство:  
сперва она, потом черёд его,  
наоборот... Что мне за толк в ранжире,  
хотя бы вспомнить через одного.  
Ведь я вас знал (и круг был много шире)  
по именам, по снимкам, по цифири  
и дат, и лет, да не упомянуть их.  
Так тихо-тихо стало нынче в мире...  
Всей памяти моей – от сих до сих:  
слова, слова, перекалённый жмых.  
Но где-то в недочитанной Псалтыри  
есть мой рыдальный, мой последний стих.

## БЛОШИНЫЙ РЫНОК

Там давнишние мужчины  
смотрят (с карточек) в усах.  
Лебедь вылез из картины  
и порхает в небесах.  
Там ковры Бахчисарая  
или даже Бухары.  
Силачи, на них играя,  
крутят гири и шары.  
Там судьба моя в конверте  
среди карточек лежит.  
И весёлый ангел смерти  
переписку сторожит.  
Он свистит и смотрит фатом –  
я, мол, знаю, что к чему! –  
машет ручкой адресатам:  
– Подходи по одному! –  
Я б пошёл, да что ж толпиться...  
Надо будет – принесут.  
Это ж – в очередь топиться,  
на себя повестку в суд...

\* \* \*

Полегли, отощали сугробы,  
и бормочет сочащийся снег,  
словно это самарские жлобы  
доругаться хотят через век.  
А не надо: что было – забыто.  
Мне теперь не до глупых страстей  
и разборок вокзального быта  
среди жлобов пяти областей.  
Нас уже обшмонали блатняги.  
Что осталось – возьмут мусора.  
Мелочёвка в дорожной общаге,  
мы по весу летучей пера.  
И шакалить нас нынче без толку:  
после Грязей с нас нечего брать.  
Остаётся лишь зубы на полку  
да старухам на паперти врать.

\* \* \*

Поглядеть на пустую дорогу,  
на осенний распластаный дым –  
и шмотьё собирать на борogu,  
уступая места молодым.  
Ничего тут особого нету –  
просто вырос иной коллектив.  
Просто мы загубили планету,  
в балаган её быт превратив.  
Жаль, что всё получилось так скоро.  
Жаль, что войны, что чёртов прогресс.  
Что сносили и жгли без разбора.  
И куда-то пропал Мелекесс.  
Жалко?.. Нет, ничего не жалели.  
Ни себя, ни того, что вокруг.  
Долго угли дымились и тлели.  
А теперь всё закончено, друг.

\* \* \*

Ну что, моя страна? Перед каким началом  
затырилась, молчишь и не торишь дорог?  
Похоже, не к добру ты нынче замолчала –  
опять чего-то ждёшь, высчитываешь срок...  
Откуда ты начнёшь – с востока или с юга?  
Сибирью полыхнёшь – всё сразу на попа?  
А там пойдёшь пластать: шуми-гуди, подруга!  
Разгульна и уже от ярости слепа.  
Дай, Боже, не дожить! Дай не увидеть страха –  
мою страну в огне, очередной разор.  
Как свой на своего, как вновь топор и плаха...  
Как пляшет на тыну весёлый Стенька-вор.

\* \* \*

Не пишется мне в солнечные дни.  
Июль в России – месяц без секретов:  
всё напоказ и ничего в тени –  
как в женщинах, неряшливо раздетых.  
Брюзглив я нынче, Господи, прости...  
Не пишется, от этого и скука.  
Порой строка уже вот-вот в горсти,  
а на бумагу не легло ни звука.  
Дождя б теперь... Чтоб изменился тон,  
настрой души – с безделья на работу.  
Чтоб день был снова вкусен, как батон,  
как суп харчо под дождичек в субботу!  
Чтоб пахла женским пряная земля.  
Сады роняли скопленную влагу.  
Чтоб я, мой мир на строчки поделя,  
благословил рабочую бумагу.

\* \* \*

Народ, который вымирает  
(который боек, смел, умён),  
сидит и сопли вытирает,  
кляня изменчивость времён.  
И повторяет те же бредни  
насчёт размашистой души.  
И то он первый, то последний...  
Хоть все мы, в общем, хороши.  
Ведь не из самых мы и глупых:  
могли бы вспомнить, что везде  
столетья строятся на трупах,  
на соли, боли и беде.  
Не из-за тупости расчётов  
стоят у времени в тисках  
все петербурги – на болотах,  
все пирамиды – на песках.

\* \* \*

...А не нужно вам знать «про поэтов»,  
их опасных и тёмных путей.  
Их нелепых семейных портретов,  
имена их побочных детей.  
Лучше – книга, закладка, страница.  
Лучше зренье придвинуть к листу,  
обмереть, соблазниться, прельститься  
и почувствовать сухость во рту.  
Словно луч, перехваченный в лёте,  
бьётся слово, щекочет в горсти...  
Да, поэты – заложники плоти.  
Только Ты им, Владыка, прости.  
Засчитай им в Твоём кондуите  
первородный озноб бытия,  
их восторги нелепых наитий,  
для которых лишь Ты судия.  
Мы родня до седьмого колена  
тем, кто не был роднёй никому...  
Лгут портреты. Лишь слово нетленно.  
И поэтому верьте ему.

\* \* \*

Когда рукастый век берёт меня в охапку,  
 колени подвернув, как хилому птенцу,  
 я память волочу – распоротую папку  
 за лямки, на весу, ошмыгав по торцу.  
 Что помнил – позабыл, что забывал – вернулось.  
 Раскидан на полях капустный вялый сор.  
 В бодыльях шепчет ночь, леса – одна оснулость.  
 И некому укрыть сезонный их позор.  
 Я старости моей благословляю иго.  
 Я ровня дням моим и вписан в тот же ГОСТ.  
 Смотри, душа, смотри, и помни, торопыга,  
 как памяти моей вздувается компост.  
 Как в месиве годов, в непроворотной каше  
 взбухают голоса, обрывки снов и дат,  
 как кто-то говорит: «Смотри, хоронят Клашу»,  
 а Клаша – мать моя, и дворник бородат.  
 И пахнет Мелекесс цветеньем Черемшана,  
 отец уже убит, а Люда умерла...  
 Нет, я ещё кадет, ещё покуда рано –  
 там будут тридцать лет и выгорят дотла.  
 Кто выжил, тот придёт, а мёртвые приснятся.  
 У них свои пути, мы им не сторожа.  
 ...Я так и не успел с нелепым веком сняться,  
 за лямки, на весу, судьбу свою держа.

\* \* \*

Светозарен конец октября.  
 Но высоко, у самого свода,  
 облаками нечётко пестря,  
 на дожди повернула погода.

Будет, будет морока и хмарь,  
 будет виснуть туга на воротах:  
 я недаром листаю букварь  
 ледоставов и солнцеворотов.

Всё, что нам ни назначено впредь,  
 нам назначено в точные даты.  
 Будет горло в апреле гореть,  
 бляеть козлицем март бородатый.

Вровень с ветром, у самого дна  
 будет ласточка плыть с облаками,  
 будто это и вправду она  
 разрезает их пласт плавниками.

\* \* \*

Бешеные, Господи, бешеные годы несутся по грязи,  
 кособочатся, путают ноги, роняют слюну.  
 Чур, хрипатые, чур! Это снова к чуме и проказе.  
 Грянусь оземь, закличу сычом, прокляну..  
 Снова кровью давиться, кусками отхаркивать душу.  
 Я уже источился, мой век покидает меня.  
 Глянь-ка, Господи, глянь,  
 как я жизнь мою – прахом ей! – рушу,  
 недокормыш, поганка, очёсок предсудного дня!  
 А какое Ты, помнится, дал мне могучее тело!  
 Как оно матерело, как дыбилась нижняя плоть!  
 Как цвело моё зренье и пухом дыханье летело,  
 не умея по младости выдохнуть слово «Господь»!  
 Я хотел бы воспеть Твой анатомический атлас,  
 славить дельты сосудов и мускулов трубчатый срез.  
 Как божественна, Боже, приёмов

Твоих многократность –  
 этот принцип шарнира, рычаг или противовес!  
 Вон за женским плечом реет воздух,  
 записанный в одах.  
 Ниже – родинок россыпь, бесстыдно просящая губ.  
 Всё прекрасно в живущих, в их лёгких  
 и в их пищеводах –  
 утоляемый голод и птичьего хрящика хруп.  
 Эти руки... Они начинают движение с захвата,  
 с наложенья ладони на тело и малый предмет...

Разве, Господи, тело в желаньях своих виновато,  
 оттого, что не знает, что стыдно, а что ещё нет?  
 Вот ему хорошо – и румянец, и глаз увлажнение.  
 Вот оно отдыхает, вот корчится-бьётся от мук.  
 Как оно замирает в блаженный момент испражнения,  
 издавая победный, рождённый кишечником звук!  
 Я вернусь к этой теме – к механике взмаха и шага,  
 к филигранности уха, к гортани и к оптике глаз...  
 Это страшное время, и воздуха пенная брага  
 заслоняет мне зренье, и тело – потом, не сейчас.  
 Это страшное, Господи, время по мне проскакало,  
 затоптало в песок, на копытах горячую плоть унесло.  
 И остались лишь кучи парного лошажьего кала  
 да какого-то века почти нулевое число.

\* \* \*

Уже не писанье стихов,  
а просто дыханье словами.  
И перечень старых грехов,  
и ангелы над головами.

Уже не игранье строкой,  
а просто что есть или было:  
смотри на меня – я такой,  
такого она и любила.

Уже не молчанье с людьми,  
а просто с Тобой разговоры.  
Таким Ты меня и возьми.  
А похоронить – только в Горы.

\* \* \*

Когда откручивает кроны  
тупое бешенство ветров,  
и сад кипит, и рвутся клёны  
уйти с расхристанных дворов,  
то я, увечный, постигаю,  
что хрупок мир и плоть слаба,  
что сила наглая, нагая –  
не исключенье, а судьба.  
Что умереть – сбегать до срока  
от небывалых пепелищ.  
Что время вправду кособоко,  
а новый век убог и нищ.  
Мир устоит. На нём просторно.  
Но страшно слышать этот вой:  
кто там на поле топчет зёрна,  
мотает пёсьей головой?

\* \* \*

Самой мелкой, обдирной листвой  
всё ещё трепыхают берёзы.  
Но наряд уже будто не свой,  
да и качество – сущие слёзы.  
Грома слышится рыхлый раскат –  
видно, мебель ворочают в доме:  
там, на небе, где ветхий плакат..  
Что-то, кажется, о Моссельпроме.  
Маяковский...А, может, и Блок  
(позабыл, а сознаться неловко).  
Перед домом гуляет телок,  
по песку волочится верёвка.  
Марафетим для близкой грозы:  
гумна прибраны, копны накрыты.  
Настроение выше в разы.  
Ветер вымел дорожные плиты.

\* \* \*

День плескался золочёным светом.  
Рыбы шевелились в глубине.  
И пускали зайчики при этом,  
чётко различимые на дне.  
Зацвели разные растенья,  
пристально глядевшие на нас.  
Лето тихо прошуршало тенью  
и почти что не задело глаз.  
Гусь протёк и канул в расстоянье,  
поплескал крылом издалека.  
Стать бы мне народным достояньем –  
всё же я крупнее гусака:  
как вон те, кто пляшет на экране  
в ящике, орущем день-деньской –  
наши развесёлые граждане..  
Почему же я-то не такой?

\* \* \*

Как мне к Тебе, Владыка, прикипеть,  
притиснуться, уткнуться в гимнастёрку –  
и дошептать, доплакаться, успеть,  
пока Тебя не вызвали в каптёрку,  
пока Тебе не выпал Ленинград,  
где Ты умрёшь на трассе лыжной роты,  
пока в окно постукивает град  
и память набирает обороты.  
Отец, ты здесь, я не закрою глаз.  
На столько лет продлилось расставанье!  
Но смерти нет ни в прошлом, ни сейчас.  
Есть только этот лепет узнаванья.  
Согрей меня, ребёнка-старика,  
чтоб слышать мне, от радости глупея,  
как отвердела колкая щека  
и как блаженно пахнет портупея.  
Тепла, отец, у мёртвого ищущу!  
Да греют нас твои дела и слава!  
...А дождь стучит по Божьему плащу  
и я прошу: «Прими продрогших, авва!».

\* \* \*

Лейтенантской весёлой походкой  
и подковками тонко звеня,  
я ходил по земле моей кроткой,  
благодарно носившей меня.  
Рыбы плавали, птицы летали.  
Ах, деревья и травы цвели...  
Невозможного мира детали  
разбегались до края земли.  
А в мордовской глуши Мелекесса  
я и сам ненароком летал:  
что во мне настоящего веса?  
Лишь душа да подковок металл.  
И хорошая девушка Люда  
мне махала рукой из окна –  
из судьбы, из незнанья, оттуда,  
где поныне всё машет она...

\* \* \*

Вновь этот гул небесного обвала  
и молоньи бесшумная стрела...  
Не зря с утра кукушка куковала,  
и зяблик пел, и пеночка ждала.

Метла дождей проходит над лесами,  
размытыми закрайками дымя.  
Дожди гудят тугими голосами  
и на покосы падают стоймя.

И вперекат, вразгон, куриным прыском  
спешат кусты, полами заслонясь.  
И мокрый кот усатым василиском  
летит, кляня восторженную грязь.

\* \* \*

Творец, не суди мне такую судьбу –  
расхожим стихом балаболить с эстрады,  
то быть на слуху, то, по слухам, в гробу  
и больше не ждать от потомков награды.  
Ты дай поколению этих жлобов  
занудливый век на червонец добрее –  
чтоб подвиг, и пыл, и большая любовь,  
хотя изменяет жена брадобрею.  
Подкинь им чего-нибудь в смысле чудес –  
конечно, с заботою о человеке...  
Но только, чтоб в душу никто бы не лез,  
как в нашем досрочно загубленном веке.  
Как в нашем, в двадцатом – в щербатом, в блатном.  
С приплясом охраны и в радостных криках.  
А век всё бежал, всё бежал полотном...  
И тамбур так страшно мотало на стыках.

\* \* \*

В подвал скатили кадки, обложили  
сухой соломой поздние сорта.  
Молчат сады – ни слова изо рта,  
и лишь хрустят узлами сухожилий.

Зазимовать – залечь, дырой оконной  
глядеться в тын, следить скворешен скрип.  
Глаза домов – глаза оснулых рыб,  
и крепок воздух выделки суконной.

Зазимовать – молчать, вживаться в тяжбы  
дерев и дней, листать календари.  
Летит позёмка, грузнут снегири,  
зобами круче пуговиц сутажных.

\* \* \*

Когда пройдут полночные гонцы  
и я опять проснусь на белом свете,  
заверещат картавые скворцы  
и засмеются маленькие дети.  
Живите все! Мне мало что дано,  
и жалости моей на всех не хватит –  
на это крупнозубое зерно,  
на тополя во второсортной вате.  
А там падут июльские дожди,  
и тихий август встанет у дороги,  
прижав меня к отеческой груди  
и прощуршит над ухом: «Мой убогий»...  
Пусти меня: ты видишь – я здоров  
и помню в лица все мои разлуки!  
Но только что же, как беремя дров,  
мне жизнь моя оттягивает руки?

\* \* \*

...А день уже заполнен до отказа.  
Он утрамбован сверху и до дна.  
И каждая добавочная фраза  
ему сегодня попросту вредна.  
Молчим. Глядим, как солнце ломит садом.  
Как на клубнике вскинулись усы.  
(И втихаря прочешем ряд за рядом  
во славу среднерусской полосы).  
Давно пора, друзья, заняться делом!  
А то стихи и всякие Муму...  
Не лучше ль в огороде поределом  
приняться за работу по уму?  
Зелёный клоп бесчинствует в малине?..  
Вот на него горчишная вода!  
А то стихи... Прекрасной половине  
дарить варенье нужно, господа!

\* \* \*

...Но как уходит время из стихов –  
его приметы, палочки-крючки!  
Названья повседневных пустяков:  
авоськи, керогазы, пищеточки.  
Потом ещё ночные «воронки»,  
РККА и «шпалы» с «кубарями».  
И всё – на расстоянии руки...  
И всё в одной неразличимой яме.  
Мой бывший мир, прощание моё!  
Распылы «Шипра», холодок по коже.  
Как будто жизнь, а глянешь – дожитьё..  
И бирки райсобесовской одежды.  
Мне Мелекесс привиделся опять,  
его хлеба с чудовищным осотом.  
...Я лишь пчела, вернувшаяся вспять  
к давно уже опустошённым сотам.

\* \* \*

Каким веселием я день отмечу,  
поскольку он пока ещё ничей,  
ником не назван и никем не встречен?  
Ах, безымянный, свет моих очей!  
Он никому особенно не нужен.  
Обидится – обратно повернёт.  
Придёт назавтра, не с утра – под ужин...  
И на ходу меня легонько пнёт.  
Я не ропщу – пускай похулиганит  
в подростковом азарте бытия,  
поелику ещё ничем не занят  
и не загружен памятью, как я.  
Все дни мои подсчитаны подённо.  
И все, как я, – зануды-старики.  
Усатые – как некогда Будённый.  
Как Ворошилов – меткие стрелки.

\* \* \*

Молчит июль о чём-то нежном,  
и жилка бьётся у виска...  
Есть в каждом лете неизбежном  
своя особая тоска.  
Чего душа от мира хочет,  
в нём уместаясь поперёк?  
Что эта женщина стрекочет,  
и горек плеч её упрёк?  
В последних числах сотворенья  
гудят гончарные жары.  
Летит акаций оперенье  
и оседает на дворы.  
Душа для счастья уязвима.  
И, начиная новый круг,  
следит за лёгкой тенью дыма...  
И ждёт касанья женских рук.

\* \* \*

Мне надоело быть отцом и мужем,  
Решать за всех. Держать по жизни курс.  
Я сам себе таким уже не нужен.  
Я не тяну – я выбранный ресурс.  
Простите все, кому я был опорой:  
я списан в тыл за выслугою лет  
и стал для посторонних «тот, который»...  
А для своих – отстрелянный дуплет.  
Раз надоело, значит, надоело.  
Таких, как я, вокруг не перечесать:  
у всех ещё недавно было Дело.  
Пора бы знать, как говорится, честь:  
сдать пропуска, и выпить отходную,  
и посмотреть на прошлое в упор.  
...А я, дурак, себя к себе ревную –  
всё не могу смириться до сих пор...

\* \* \*

Ничего не умеет душа,  
если душу уметь не учили.  
Знай, живёт, никуда не спеша,  
или плачет, когда огорчили.  
А душе ни к чему расслабляж:  
у неё не такая работа.  
Даже самой надёжной из прях  
ей отпущена жёсткая квота.  
Под лимит выдаются года...  
Лишь печали идут без лимита.  
Всё, как водится. Всё, как всегда.  
Жизнь исполнилась, то есть прожита.  
Что, душа, соколиная статья,  
жёлтый зрак из куста в огороде?  
Как мне ровнею времени статья:  
я хоть дальний, но родственник вроде?

\* \* \*

Всю жизнь мою ношу в кармане эти корки  
(то мыши проедят, то время сточит в прах).  
Всю жизнь меня манят видения каптёрки –  
хранилище чудес и слипшихся рубаш.  
Благословенны те, кто ничего не просят!  
Благословен любой, владеющий добром:  
он входит и берёт и в ведомость не вносит.  
Порвал – и не списал, а бросил за двором.  
Вон кружится песок, по весу легче взвея.  
В ракушке память спит, и плавится вода.  
И бабка, сорок лет на пенсию говея,  
дивится, сколь сладка небесная еда.  
...Живите на земле – и ешьте до отвала.  
А корки по ночам сушите на окне,  
чтоб время вас потом врасплох не заставало  
и не кормило тем, что скармливало мне.  
Родимые мои, я вам покамест нужен.  
Вы смотрите в поля и нянчите детей.  
Но плавится вода, песок по кругу кружит –  
пока что на одной из малых скоростей.

\* \* \*

Как хорошо без повода напиться!  
Ну, просто так, по дури, с кондачка:  
от скуки. Или подгорела пицца.  
И у «Динамо» только три очка.  
Но ты идёшь, а вечер дружелюбен.  
И люди понимающе глядят.  
Дождь перестал греметь в дурацкий бубен.  
И на скамейках бабушки сидят.  
А я себя нисколько не ругаю:  
ведь я ж не пью, чего комплексовать?  
Я просто, скажем, не пренебрегаю..  
А это нужно так и называть.  
Чего же мне ещё от жизни надо?  
Я сыт, одет, поверхностно здоров.  
Хожу, гляжу, жена мне, вроде б, рада..  
И даже есть общедоступный кров.  
Как легковесно счастье человека!  
Вот я иду, достойно не тверёз,  
навстречу бурям яростного века,  
вдоль кромки рахитических берёз.

\* \* \*

Снова гуси курлычат. И я им ответно кричу.  
Ничего, что не слышат, – тут важно простое общенье.  
Я уже не летаю, мне с возрастом не по плечу,  
но хотя бы вдогон пожелать возвращенья.  
Мир давно многозначен и назван десятком имён.  
В нём полей нагота и отходная горечь развязки,  
золотушные вётлы давно позабытых времён  
и автобус, который нелепо задёргался в пляске.  
Ничего, переждемся. Снова над лесом светло.  
Снова гуси курлычат, по краю судьбы пролетая.  
И опять мне молчанием горло свело,  
оттого что уходит, уходит последняя стая.

\* \* \*

Высокие дожди пришли из-за Коломны –  
совсем издалека, от самых Лоховиц,  
где ночи коротки, а зарева огромны  
и местные ветра в хлеба ложатся ниц.  
Учись, душа, учись покорности природы,  
большим её дождям и медленности дней!  
Ока уже полна, на пойму гонит воду  
и топит лозняки, ныряющие в ней.  
Пристрастие к стране, не знающей предела,  
пометило меня своей дамгой-тавром.  
Я так всю жизнь любил её большое тело  
и думал про неё в разлуке за бугром!  
Про копошеньё сфер над приозёрским лесом  
и полувнятных сёл размытые огни.  
Про город, что я звал когда-то Мелекессом...  
Но больше нет его среди моей родни...\*

\* В 1972 году Мелекесс переименован в Димитровград.

\* \* \*

Погода всем погодам:  
то пыль несло стеной,  
то день по огородам  
шатался, как хмельной.

Откроешь дверь – и тотчас  
за пазухой озноб.  
Сквозняк, рассредоточась,  
опять заходит в лоб.

Над крышей шум и скрежет:  
под флаттером дрожа,  
фанера воздух режет  
с решимостью ножа.

И снова зубы стыннут,  
и в скулах холодок.  
И землю, словно льдину,  
уносит из-под ног.

\* \* \*

Глазное яблоко устало,  
хотя ещё удивлено  
и днём из серого металла,  
и вишней, лезущей в окно.  
Но стали как-то безразличны  
едва промытые цвета,  
и палисадник рахитичный,  
и поздних ягод нагота.  
Хотя опять весёлым звоном  
из школы брызжется звонок.  
И ветер в жёлтом и червонном,  
дурачась, порскнул из-под ног.  
И жизнь легка недолгим весом  
своих прельстительных забот.  
...А провода гудят над лесом  
и котлованами работ.

\* \* \*

Всё бывало с моею страной.  
Всё бывало, и всё ещё будет.  
Вон как ветер летит ледяной  
и меня через форточку студит!  
Не мешало б одеться теплей..  
Но сады тяжелы и косматы.  
И такие раскаты полей,  
что не хватит рождественской ваты.  
Белизна – словно зренья ожог.  
Нынче тихо и молодо в мире.  
И щекочется квёлый снежок,  
залетая из праздничной шири.  
До сих пор не привыкну к стране:  
всё снега, всё прощанья и встречи.  
Всё бодылья на мёрзлой стерне.  
И возлюбленной жаркие речи.

\* \* \*

Жизнь, конечно, обходится дорого –  
не в пример дешевой помирать.  
(Вот, ей-богу, открытие пороха!..)  
Да и в целом – к чему выбирать?  
Неприлично считаться с расходами  
на затратную часть бытия:  
на июли с высокими водами  
и звериной тоской дожитья,  
на леса-дерева раскорякою,  
на осеннюю хладную десть.  
(Я люблю мою родину всякою,  
но стараюсь в бутылку не лезть).  
Жизнь с её с непосильными тратами..  
Не торгуйтесь, не зная цены!  
Дети рядом растут конопатыми  
и уж вырасти точно должны  
для большого и только хорошего,  
без алчбы и великих кровей.  
Жизнь и вправду даётся недёшево.  
Жаль, становится всё дешевой.

\* \* \*

По лесам, по долам закружили весёлые мухи.  
Мёрзлых глин обнажился металлоподобный излом.  
Пласт земной отворён, лёгким сором клубится, и сухи  
очертанья дерев, нанесённые жёстким пером.

Кто там бродит селом, проверяет замки и запоры,  
загоняет в нору на стерне заплутавшую мышь?  
Это ты, или я, или, может, прохожий, который  
как губною гармошкой, играет дранкою крыш.

Легковейные снеги по белому свету порхают,  
и мерцанием сумерек он до небес озарён.  
Это снежные ангелы тихим крылом трепыхают  
или воздух колышут в одной из недалних сторон.

\* \* \*

...То было время,  
великое в своей жестокости  
и страстности. И мы в нём жили.  
Теперь я знаю: мы и были время.  
Петров и Сидоров, Корпенко, Люда, я,  
Андреич, Вера, Вовка-недомерок,  
живые, мёртвые и ждущие рожденья –  
мы были время. Нас несла река,  
а мы в ней были и вода, и берег.  
Кружило солнце. В небе поперёк  
продольным прочерком  
редел форсажный след.  
Подкрылками треща,  
я мерил день длиной перемещений:  
глухая стрекоза, птенец, пчела – не помню, кто.  
У «Сокола» трезвонили трамваи.  
На Алабяна Люда открывала  
слепящее окно в бессмертье, в тридцать лет,  
которые остались под Нью-Йорком,  
над бешеными кручами Салева  
и возле грядок Кащенко... Пора.  
Пора вернуться в пятьдесят девятый,  
в позор сиротства, в гиблый Мелекесс,  
в кусошничество, в «Житие Христа»,  
где выцвевший от старости осёл  
и колченогий Иисус с какой-то веткой,

немыслимые шляпы суддукеев.  
И папа за спиной у Крупской ...Нет,  
жена-птенец, ты закрываешь окна,  
тебя зовут Татьяна, ты жива.  
И я приснюсь тебе  
наперсточником с Курского вокзала.  
И время-гаечка  
склюёт с окна мой хлеб.  
И я с разбитым ртом, как рыба на кукане,  
о память бьюсь  
и закатил глаза.

\* \* \*

Ведь ещё ничего будто нет  
и нелепы кукушкины счёты.  
До бесстыдства налился ранет,  
медоносы заправлены в соты.

И обвод клеевого кольца  
на папировке чёрен и долог.  
И блистает на досках крыльца  
незаживший сосновый засмолок.

Но уже погрузнели часы,  
и о чём-то гагачатся гуси.  
Да и плотность окрестной красы  
не в моём – чуть готическом – вкусе.

\* \* \*

Колокольным грустным звоном  
день сегодня отзвучал.  
Оттрезвонил телефоном,  
паровозом откричал.  
Сколько звуков в этом мире!  
И не все они нужны...  
Сохранить бы три-четыре:  
те, которые нежны.  
Те, в которых обещаье  
лучших дней и долгих лет.  
Только чтобы не прощанье,  
не о тех, которых нет...  
Чтоб звучали лёгкой дымкой  
или тренькали слегка,  
как под шапкой-невидимкой,  
Где-то там, издалека.

\* \* \*

Слух слабеет, стал пакостно ровен,  
как покрытое пылью стекло.  
Переждемся, я не Бетховен.  
Лишь бы зрение не подвело.  
Как я всё же тащусь от закатов,  
от окраса и графики дней!  
Этот глянец, а тот просто матов...  
Третий статью обоих видней.  
Не покинь меня, Господи Боже!  
Не оставь без присмотра и впредь.  
Больно вторник сегодня пригожий...  
Будем вместе на лето смотреть.  
Закричат – я уже не услышу.  
А Тебе и совсем ни к чему.  
...Вроде дождь барабанит о крышу.  
Нет, помстилось. Почаще б ему...

\* \* \*

Ракушек тусклый перламутр,  
сентябрь, нахмуренные дали.  
И перезвон холодных утр –  
как дребезжащие медали.  
Там тени кроются в тени  
и фон звучания повышен.  
Но как прекрасны эти дни  
грачами вычищенных вишен!  
Ах, спозаранку, по росе  
пройти на вымокшую пойму  
и в нашей средней полосе  
зажить на полную обойму –  
чтоб галки падали с небес  
на отощавшие покосы...  
И чтоб с пристрастьем (или без)  
впивались в день тугие осы.

\* \* \*

Я хожу, как танцую, на ловком прогибе подмётки  
и по лестницам сыплюсь,  
как брошенный горстью горох.  
И плевать мне на возраст, достоинство лет и походки:  
я чумной, я котлеты недавно сменил на творог.  
И сжимается сердце, подростковым глупостям радо...  
Я из хилого рода, а всё побогаче бомжей:  
из тамбовского причта,  
похмельных дьячков без разряда,  
из внезапного порха бессмертных хопёрских стрижей.  
Откатились и стихли мои мелекесские грозы.  
Я, как в старость, вступаю в самарский песок.  
Мне глаза заслонили трескучие Божьи стрекозы  
и тихонько садятся ко мне на пригретый висок.  
...Я хожу, как танцую, и пьян от пчелиного гуда.  
Завершается время печалей и бронзовых мух.  
И уже над садами совсем неизвестно откуда  
на копеечной нитке качается ласточкин пух.

\* \* \*

День сегодня порядком оттаял.  
Поприличней, но всё ж плоховат:  
солнце сделано явно в Китае  
и не тянет на тысячу ватт.  
Снег слежался и стал словно камень –  
неопрятный, косматый, худой,  
словно так и валялся веками  
и сочился подлёдной водой.  
Но приходится с этим мириться:  
с затяжной и неловкой весной,  
и с распяленной в воздухе птицей,  
и с роднёю её навесной.  
Перебьёмся – и раньше бывало.  
Да и будет, наверно, бывать.  
...Раньше жизнь за весной попевала,  
а теперь не спешит попевать.

\* \* \*

Ничего у истории нет.  
Разве даты невнятного стиля,  
да собрания старых монет –  
как замена её апостиля?  
Парфеноны – обноски судьбы  
и папирусный сор из Кумрана..  
Если б только... А, может, кабы.  
Впрочем, поздно. Возможно, что рано.  
Всё-то в ней – половина вранья,  
всё с чужого плеча или слухи.  
Всё – как будто писал её я..  
Много всякой муры у старухи!  
Десять версий на каждую блажь.  
И свидетелей шумные свары –  
так жильцы забивают метраж  
на жилплощади съехавшей пары.

\* \* \*

Какой-то дождичек убогий,  
какой-то хилый ветерок  
бредут в обнимку по дороге,  
совсем не к месту и не в срок.

Куда они, о чем талдычат?  
Кому их лепет разбирать?  
Зачем в дорогу пальцем тычат  
и слёз не могут вытирать?

Сплошное сердца сокрушенье.  
Сплошная детская тоска.  
И тихой боли копошенье  
вот здесь, у правого виска.

\* \* \*

Опять безгласно угасает вечер.  
Поблекли краски. Сникли голоса.  
И только березняк насквозь просвечен –  
сияет в эти кротких полчаса.  
А я гляжу, и мне отсюда видно  
всю высоту, теряющую вес..  
Как всё же мне, Творец, порой обидно,  
что я не стал сотрудником небес,  
не научился слову или жесту,  
которым можно приостановить  
закат, порой случившийся не к месту,  
рассвета оскорбительную прыть.  
Не покажу потрепанную ксиву  
кому-нибудь, кто глянет и поймёт..  
Меня по канцелярскому курсиву  
навскид узнает, но не обоймёт.

\* \* \*

У счастья нет подробностей числа:  
лишь свет в глаза и пчёлы на припёке.  
А я не верю в постоянство зла:  
оно живёт отмерянные сроки.  
Вон зарастает ряска на пруду  
от брошенного камня, как от боли...  
Я никуда отсюда не уйду.  
Ну, а уйду, так по хозяйской воле.  
С бугра в дожди не виден окоём,  
хоть жизнь полна высокого значенья.  
А я, Творец, как прежде, о своём:  
пожить бы мне в порядке исключенья.

\* \* \*

Воротись, я опять для тебя христарадничать буду,  
на хопёрских базарах частушки кричать за кусок!  
Только ешь, только пей, только пемзою чисти посуду,  
только встань из могилы, доштопай мне ветхий носок.  
Только дай мне забыть  
эту хлорку вокзальных сортиров,  
этот пакостный запах, разъездов визгливый металл.  
И как падал июль на кинжальные листья аиров,  
в клепиковских болотах сквозь горло моё прорастал.  
Что же ты не пришла, к полустанкам моим не успела?  
На затрёпанных снимках стоишь, как свеча на ветру.  
Как ты, простоволосая, «ладушки-ладушки» пела!  
И какие «мотани» я нынче, похабный, ору..  
Никому я не в счёт, но и мне никакая держава.  
Никого не прощаю из тех, кто меня разлюбил.  
Отболела душа, от бездолья и ярости ржава..  
Мало я её, дуру, за эту чувствительность бил.

\* \* \*

...И дрожь листвы, текущей по берёзе  
и плещущей у самого лица.  
И день с трескучей мельницей стрекозьей  
и рыщущим пробегом плавунца:  
его трёхлапых ног перемещенье,  
черчение неправильных углов...  
Ещё не знанье – только ощущение  
самих себя не угадавших слов.  
Живи, мой мир. Достанься новым детям,  
чтоб над тобой на корточках сидеть  
и палочкой копать в этом лете,  
в него горячим зрением глядеть,  
за тенью рыб гоняться по протокам,  
от пьяных гроз восторгом обмирать.  
И в этом мире, гневном и жестоком,  
своё тысячелетье выбирать.

\* \* \*

Сады в дожди становятся тесны,  
как будто уменьшаются в размере:  
мы им, похоже, больше не нужны –  
они нашли товарищей по вере.

И снова мир покорен под дождём.  
Стоит и терпит лошадью усталой.  
И думает, наверно: «Переждём.  
Покуда наше время не настало».

Я тоже из покорных, из таких:  
из тех, кто вырос под шептанье влаги,  
среди дождей и колыханья их,  
под плеск ручьёв, сорвавшихся в овраги.

И так светло душа невесела  
от этого гудения рябого!  
А там, за поймой, дальше от села  
сверкнул клочок чего-то голубого...

\* \* \*

Так тихо – словно после вскрика:  
до клокольчиков в ушах.  
И зацветает павилика,  
и сверху слышен чей-то шаг.  
А тут придёшь домой и видишь,  
что никому ты не нужен...  
Дитя прибьёшь, жену обидишь –  
свою тишайшую из жён.  
Всё трын-трава, и жизнь прожита,  
и скулы яростью свело:  
пускай другие сеют жито,  
за водкой бегают в село!  
А Тот, кто сверху, Тот, кто видит,  
он только семечки грызёт.  
Он ни за что меня обидит...  
И мне ни в чём не повезёт.

\* \* \*

Снова время болеет сезонным падением духа.  
Говорят, это осень, да кто её там разберёт?  
А покуда так тихо, так хрупко, убого и сухо,  
что и дух, упавая, в паденьи, наверно, замрёт.

Я годков этак в тридцать прошёл невесёлую школу,  
технологию власти из уст корифеев уча.  
И с тех пор недоверчив к разящему душу глаголу,  
к благодетелям сырых, карающих гидру сплеча.

Мне скучны разговоры о сущности либерализма,  
о судьбе поколения и национальных идей.  
Но вот это пространство, его усечённая призма  
мне глаза обжигают всё шибче и всё молодей.

Скоро, скоро метели простынкой взмахнут-заполощут,  
понесутся клоками и уркой засвищут в окно!  
Сохрани меня, Боже, меня и вот эту жилплощадь,  
на которой мне не было высшего знания дано.

А покуда всё тихо и жёлудь зачем-то обилен.  
Жернов тела так тяжек, что сердцу не перенести.  
Пусть нас время полюбит, как мы его прежде любили  
и щепотку удачи носили в зажатой горсти.

\* \* \*

Вот-вот тяжёлым запахом воды  
запахнет день и пошатнётся лето,  
орехи станут яростно тверды  
и скорлупа до гулкости прогрета.  
Нездешних птиц приснятся голоса.  
Нездешних рек перехлестнутся устья.  
Другая жизнь (всего на полчаса!)  
возьмёт меня к себе из захолустья.  
А может – нет: захочет – не возьмёт.  
Но эти запахи звериной лёжки,  
в которых шерсть, и сперма, и помёт  
с остатками насильственной делёжки!  
И время завершения судьбы.  
Творец придумал мир, конечно, летом:  
чтоб густо шли в Бабурино грибы  
и вялый флаг торчал над сельсоветом.

\* \* \*

Сиротство начиналось с Мелекесса:  
с его могил, с загаженных прудов,  
с комвольных комбинатов, с райсобеса –  
опоры невеликих городов.  
Ах, этот мир чулочно-трикотажный,  
где Клара Цеткин задавала тон!  
Литейный цех, в ту пору очень важный,  
артели – лён, поделочный картон...  
Всё дура-память помнит о промбазе,  
а про погодков – ровно ничего:  
одни блатные клички в лучшем разе.  
А лица стёрлись все до одного.  
Вот бабушкина тощая укладка –  
платёжки, поминальные листы:  
за здоровье – имён на полдесятка.  
За упокой – длиною с полверсты...  
По нашим жизням время уходило,  
по нашим удивительным годам.  
И новые названья находило  
своим малозаметным городам.

\* \* \*

Мне прелесть мира сердце истоньшила.  
И пусть их изгаляют врачи,  
но возле сердца воткнутое шило  
чуть-чуть нажмёт – и хоть ты в крик кричи,  
когда проходит через пойму ветер,  
а в горле от волнения першит,  
и день совсем как будто незаметен,  
но по краям сиреневым прошит;  
когда очкарик, писарь хамоватый,  
хрустя травой – бутылочным стеклом,  
стоит декабрь с набитой в уши ватой  
и самым восхитительным числом...  
А дура-жизнь не может наглядеться:  
– Ещё хочу! Ещё всего вдвойне! –  
...Хоть ей осталось в чистое одеться  
да зеркало повесить на стене.

\* \* \*

Искусство жить – освоенная малость,  
повтором освящённый ритуал –  
лишь для того, чтоб время не сломалось  
и чтобы я до пробужденья спал.  
Рутинка порождает атрибуты  
покоя и семейной тишины:  
зарплата, дети сыты и обуты...  
А главное – чтоб не было войны.  
И чтоб на месте тапочки стояли.  
Чтоб, открывая форточку, опять  
услышать птиц и гаммы на рояле,  
нам сызмальства мешающие спать.  
Ей-богу, жизнь прекрасна мелочами.  
Возможно, в них её резон и суть.  
Проснуться, сдвинуть крылья за плечами –  
и в мелочах блаженно утонуть.

\* \* \*

Рутинный дебит-кредит подводя,  
по прутьям разогнав костяшки счётов,  
я тщусь понять гармонию дождя  
и логику гусиных перелётов.  
Но я, увы, никчёмный счетовод –  
таких теперь, наверно, ставят к стенке.  
Хоть временами кажется – вот-вот  
начну в твореньи различать оттенки,  
чего-то где-то досоображать –  
там подтереть, тут выделить курсивом...  
И этим хоть порядок поддержать  
в моём существованьи некрасивом...  
Всё дело в цифрах. С них бы и начать –  
с колонок мелкой прибыли и пшика.  
Сидеть бы и костяшками стучать,  
посвистывать-поплёвывать для шика.  
Бухгалтера – основа бытия.  
С них начиналось, ими завершится.  
Вот если б раньше это понял я!  
Глядишь, и перестал бы петушиться...

\* \* \*

Бог судит не за явное – за тайное:  
мы в явном до убогости пресны.  
Он судит наши помыслы летальные  
и наши богохульственные сны.

Вот он до петухов, до голошения,  
поблёскивая дужками очков,  
заносит в книгу наши прегрешения  
и сбоку помечает: «Русаков».

Потом сидит, похрустывая кедами.  
Потом бумагу комкает в горсти.  
И тихо плачет над моими бедами,  
которых и ему не отвести.

\* \* \*

В лингвистических снах мне являются странные вещи:  
 то мерещатся гнёзда никем не упомянутых слов,  
 то омонимы бродят, по фене базарят зловеще,  
 и косяк диалектов попался в нехитрый улов.  
 Вдруг невнятный глагол раздражается

всплеском спряжений...

А Воронеж в разоре, и дед в понедельник помрёт.  
 Ленинградские тётки (я помню одну – тётю Женю)  
 дотлевают в блокаде и рубят над прорубью лёд.  
 Жизнь моя не сложна, но в подробностях малопонятна.  
 В ней почти наяву окисляется медный закат.  
 По анкетным событиям раскиданы ржавые пятна –  
 непроросшее время, фитюлька-полуфабрикат.  
 Ах, лингвистика-мама, лихие года и повадки!  
 Мы теперь обойдёмся не словом – двузначным числом.  
 Хоть когда-то и мы тоже были драчливы и хватки...  
 А теперь нас лингвисты не примут за общим столом.

\* \* \*

Из долгой памяти моей  
 (из усыхающего света)  
 я вижу август, горстку дней  
 в сусальном золоте багета,  
 в сыпучей мелочи берёз.  
 Старенье лета, солнце в клёнах.  
 К тому же, я вполне тверёз,  
 и в липах, жарко распалённых,  
 с утра стоит пчелиный гуд  
 органной плотности и мощи.  
 И велогонщики бегут  
 через реликтовые рощи.  
 А в долгой памяти моей  
 сместилась точечная риска.  
 И всё, что мерялось по ней,  
 сегодня стало слишком близко.

\* \* \*

Какие странные погоды  
стоят в отечестве моём,  
когда молчат леса и воды  
и светозарен окоём,

когда картошка отцветает  
и, как заблудшая душа,  
слепая бабочка летает,  
сухими крыльями шурша.

Когда редисом пахнет воздух  
и спеют ранние харчи.  
И на своих фамильных гнёздах  
сидят безмолвные грачи.

\* \* \*

*Маше Русаковой*

В животе у каждой кошки  
есть мурлычный аппарат.  
А глаза у кошки – плоски,  
бриллианты в сто карат.  
Кошкин «мурр» – улада слуха.  
С ней всегда тепло и сухо,  
как у Божьего плеча.  
Кошки смотрят на творенье  
твёрдым взглядом одобренья  
И уютны, как свеча.  
Если кошка сядет рядом  
и посмотрит на меня,  
я пойму по нашим взглядам,  
что, наверно, мы родня:  
потому что я ведь тоже  
вижу мир совсем похоже  
(хоть не падок на мышей).  
Я ведь тоже хорошею,  
если мне погладить шею  
Или около ушей.

\* \* \*

Низких солнц ворошенья в раздетой до нитки дали –  
припадают к земле и опять поднимаются ниже.  
И ночные позёмки за ними вдогон замели:  
далеко-далеко, а посмотришь – покажется ближе.  
Навести меня, мати, приснись мне в утраченном сне.  
Расскажи мне, отец, о моих мелекесских печалях.  
И бабуся всё реже, всё реже приходит ко мне:  
видно, всё, что хотела, уже рассказала вначале.  
Остывающим светом полны рахитичные дни.  
Нет, не скоро ольха зацветёт и кистями овянет,  
головастые рыбы над омутом встанут в тени,  
в чернозёмную пятницу гром за Русановым грянет.  
Или тополь ко мне повернётся обратным листом –  
как ворсиста и бережно пальцы ласкает подкладка!  
Ах, на белом на свете, на самом родимом – на том,  
где усталые дни и уже не стрекочет касатка.

\* \* \*

Дерева в кофейных пятнах  
и в проплешине сырой.  
В паразитах облигатных,  
замеревших под корой.  
Осень. Осень, злое дело.  
Беспредметный разговор.  
И уже заглодело.  
И уже печаль во двор.  
Помереть бы, да не мрётся.  
Поиграть бы, да не в масть.  
Жёсткой шёрсткой время трётся.  
Тяжела чужая власть.  
Жизнь – что дудка на три звука:  
тот же воздух взад-вперёд.  
Одиночество, разлука..  
Осень, кто там разберёт.

\* \* \*

Когда художник в поздней силе  
ломает норму и канон,  
переиначивает стили –  
в барокко строит Парфенон,  
он сам судья своим забавам,  
он перешёл за ремесло.  
И потому он будет правым,  
куда б его ни занесло;  
в его таблице умноженья  
теперь иной цифири вязь,  
иное мыслей раздраженье,  
иная логика и связь.  
Он прав последней правотою,  
уже за гранью правоты –  
своей, единственной, тою,  
где он со временем на «ты».  
Где он себя уже не слышит  
и сам не волен над собой:  
крючки и палочки напишет –  
и подписался под судьбой.

\* \* \*

Плывут, плывут по небу корабли,  
летят за ветром поздние печали –  
туда, где сопки прячутся вдали,  
где Божий мир ещё первоначален.  
Там бухты комиссованных судов,  
засыпанных могучими снегами.  
Там вечно ждут прихода холодов  
и дни перемещаются кругами.  
Там память об отплытьи моряков,  
которых не забыли только жёны.  
Туда ушёл однажды Русаков,  
стрелой печали в сердце поражённый.  
А корабли назначены на скрап.  
Их жди не жди – не сдвинутся с прикола.  
И на фуражках ресторанный краб  
всего лишь признак мужеского пола.

\* \* \*

Ничего мне не надо от этого гордого мира..  
Я из тех, конопатых, кухаркиной бойкой родни,  
из детдомовской кодлы, шпаны без подкожного жира –  
мелкосортной породы, которая вечно в тени.  
Так, ни кожи, ни рожи... И нос разночинной наклёпки.  
Ничего, перебьёмся, не чай с нашей физии пить..  
Мы продержимся, Пашка,  
в июльском редееющем хлопке,  
небогатые деньги со вторника будем копить.  
Русаковское племя ещё по земле не остыло.  
Мы неважного рода, но лучших плебейских кровей.  
Так уж, Павел, ведётся, что матери – главная сила..  
И отцы, что уходят, едва приласкав сыновей.

\* \* \*

Поднял взгляд, а там высоко,  
трепеща сухим крылом,  
в ельник, в пажити, в осоку  
август падал напролом.

Бог ты мой, да что же это!  
Тут куда ни погляди –  
только лето, лето, лето  
с жёлтой метой на груди.

Только осы в паутине.  
Только брызги по траве.  
Толькой первый стылый иней.  
Груша с дыркой в голове.

\* \* \*

Всё путём, как надо, шито-крыто...  
Веет ветер, пахнет матерком.  
И соседка Марга-Маргарита  
ходит, сиськи брыжжут молоком.  
Но, наверно, не было такого...  
А уж если было, так давно.  
Бабушка для Генки Русакова  
валенки канючит в районо.  
Я косяк наладил из бумаги,  
затянулся, харкаю-давлиюсь.  
Вот подамся из мордвы в варяги,  
а потом в Поворино, на Русь.  
Дальше – прямо, мать моя – дорога.  
Дряхлый ельник, глыбкая вода.  
Что-то жлобов стало нынче много.  
Что-то долго тянутся года.

\* \* \*

Так славно пишется в бессолнечные дни,  
когда до неба полтора размера!  
Туманы, слякоти и тусклые огни.  
В слезах надежда, и не верит вера.  
Ну, а душе к лицу привычный антураж,  
просты её солдатские пристрастья –  
поверки-хлопоты, работа за фураж...  
Для жизни не хватает только счастья.  
Но длится, тянется промозглая пора,  
внезапностью прекрасного пугая,  
и потому опять не спится до утра.  
Потом за ней придёт совсем другая.  
Да, отчина-страна, буксирные гудки,  
родные имена и памяти облатка.  
...Опять сырой туман подходит от реки.  
И забывать так горестно и сладко.

\* \* \*

...Но как же, Бог ты мой, я леденел в восторге,  
когда заполучил в потливую ладонь  
слюнявку-петуха из лавки при райторге  
и смаковал его химическую вонь!  
Как обмер и ослеп от царственной обновки,  
когда в ответ на стук нам кинули штаны  
(я с бабкой в этот год кусочничал в Терновке) –  
и я в них утонул на две моих длины!  
Родные, всё прошло. Все радости опресли.  
В моих календарях теперь одно число.  
Но если бы опять, но если б только, если!..  
И чтобы те штаны, и химией несло.  
И чтоб моя страна детей своих искала  
и прижималась к ним от слёз распухшим ртом...  
А после, одарив слюнявками, ласкала,  
как не ласкала никогда потом.

\* \* \*

Пусть плачут те, кому настали сроки, –  
мои прошли, я отбыл время слёз.  
Мне нынче возраст осушает щёки,  
суставы ломит остеопороз.  
Ну, что теперь? Какие наши планы?  
Какого роста дождики пройдут?  
По небесам плывут аэропланы,  
крылами машут... Страшно – упадут.  
Костист горбом и жив приманкой слова  
до шевеленья пота в волосах,  
я занят жизнью и не жду иного,  
и не читаю стрелки на часах.  
Легла на губы осень влажной плёнкой.  
Глядится сверху воспалённый глаз.  
Кто там стоит за розовой филёнкой?  
Творец, забудь – сегодня не до нас.

\* \* \*

...А не нужно писать по ночам –  
 это очень опасное дело.  
 По ночам слишком тянет к речам  
 отреченья, конца и предела.  
 Слишком тесно стоит темнота.  
 Слишком страшное смотрит снаружи.  
 Слишком близко подходит черта,  
 за которой лишь горше и хуже.  
 ...Я пишу это в третьем часу  
 и боюсь угадать продолженье:  
 кто-то бродит в соседнем лесу,  
 кто-то смотрит в моё предложенье...  
 Защити меня, разум-дурак!  
 Никого там, наверное, нету.  
 Просто ночи распяленный зрак.  
 Просто требует совесть к ответу.

\* \* \*

Когда мы были полная семья –  
 отец и мама, бабушка и я,  
 мы жили, как положено в то время:  
 на Аблова, дом номер двадцать семь.  
 А прочее не помнится совсем –  
 один лишь этот номер между всеми.

Семьи не стало, жизнь пошла на слом.  
 ...На мне платок, завязанный узлом,  
 чтоб со спины не индеветь на стуже.  
 Отец погиб, а мама умерла.  
 Мы с бабушкой остались без угла –  
 квартиру взяли, дальше – только хуже.

В те годы зимы были много злей.  
 Мы всё же из семьи учителей  
 и побираться нам не подобало.  
 Мы кое-как держались целый год:  
 бачки столовок, рыночный отход...  
 А в холода бесхлебье задолбало.

Нет, там не я, другой какой-то шкет.  
 Меня в том веке не было и нет.  
 И не вернёт туда ничто на свете.  
 По всей земле шпана и голытьба.  
 Бабуся стала зрением слаба.  
 И я читаю ей Миней-Четьи.

\* \* \*

Не находит меня слава,  
не скребётся мне в окно.  
Смотрит влево, смотрит вправо...  
Ей, шалаве, всё равно.

Я бы с нею, конопатой,  
в парке под руку ходил.  
Я бы грёб деньгу лопатой  
и наследников плодил.

Я развёл бы в банке гуппий  
и купил жене манто.  
На вопрос на каждый глупый  
отвечал бы всем: «А то!».

Мне бы хвори не мешали,  
тлелся б жизни фитилёк.  
...Трубы смутно зашуршали.  
Дом вздохнул и снова лёг.

Ладно. Глупости всё это.  
Спит усталая жена.  
Без манто, а всё ж одета.  
Перебьёмся. Жизнь полна.

\* \* \*

Березники сквозят по низкому обводу.  
Мой август наступил. Отгрохотал Илья.  
Пора глазеть на птиц, угадывать погоду  
и мерять на часы протяжность бытия.  
Я, помнится, хотел писать стихи с сюжетом  
и строить, как рассказ, – из трёх, не больше – строф.  
«Мой август наступил» – начало, может, в этом?  
Но лучше подождать до зимних вечеров.  
А тли и червецы, подкорники и моли –  
они уже в пути, уже шуршит их шаг.  
Березники сквозят и от предчувствий боли  
мотают на ветру цепочками в ушах.  
Мой месяц-побратим, в их прядях или косах  
ни смысла, ни судьбы, лишь нежность и укор.  
Там горькое родство детей тонкоголосых –  
таких, каким был я, и помню до сих пор.

\* \* \*

Летела ночь, и длилась, и была.  
И осыпалась вниз в своём полёте.  
А после белой розой расцвела..  
Но я уснул, послушный зову плоти.  
Тому, кто спит, на свете всё равно.  
Он ни за что покуда не в ответе  
и не глядит без повода в окно,  
где ходят кони, женщины и дети.  
Да, Бабель прав: «А ночи время – зло»,  
обряженное в куколь капуцина.  
Мне никогда с ночами не везло.  
На это есть отдельная причина:  
я не люблю засилья темноты  
с беспомощностью зрения и слуха,  
всего и вся размытые черты..  
И чьи-то души, ропщущие глухо.

\* \* \*

Кто не видал меня – смотрите: я из ваших.  
Мне жизнь моя не в рост, во мне слова болят.  
Я тоже, как и вы, гостил в семействах пташьих.  
Но время от меня уже отводит взгляд.  
А я с ним говорил, от нежности глупея,  
и кожа на лице немела всякий раз.  
И там, над головой, цвела Кассиопея –  
цветок пяти огней поверх гусиных трасс.  
...Курлычат и плывут ночные караваны.  
Душа не слышит их и в окна не глядит.  
Где помнят – то не нас. Где ждут – там мы не званы.  
Молчание в полях, но будто медь гудит.  
Крепчают холода, кузнечиков сжигая.  
Сады стоят в луне, с расчёсами теней.  
И будто медь гудит.  
И жизнь моя, другая,  
не знает, что я ваш и что вы тоже в ней.

\* \* \*

Четырёхдневный дождь отморосил.  
Пчела доутрамбовывает соты.  
Для счастья нет ни времени, ни сил.  
Осталось только время для работы.

Всех позабыл, кого хотел забыть.  
Не буду вам ни другом, ни соседом.  
Осталось лишь самим собою быть  
до приглашенья к гефсиманским бедам.

Как ломок ноготь и гремуча кость!  
В ней ходит воздух, пламенный и жёсткий.  
Остались только мужество и злость,  
и век, иглой отчёркнутый на воске.

\* \* \*

Где ты, мати, блукаешь по свету,  
серый плач по дорогам кропишь?  
Никого у тебя больше нету..  
Только я, подамбарная мышь.  
Мне ячменные снятся волокна.  
И над зыбкой дыханье зерна.  
Жёлтым августом крашены стёкла.  
Досыпает большая страна.  
Мати, мати, как жёстко и точно  
по орешникам желуди бьют!  
Как смещается воздух проточный,  
выше облака хором поют!  
Честно мужество корня и глины.  
Чётко след зоревой колеи.  
Мати, мати, где голос твой длинный,  
мелекесские косы твои?

\* \* \*

Теперь пришла пора глядеть на птичьи лица,  
осинам щупать ворс и слышать пальцев зуд.  
У птиц не дрогнет лёт и шёлк не запылится.  
Деревья на себе свой праздник провезут.  
Пускай блестят ветра окатною спиною:  
им нынче вдоль шерстин оглаживать дожди.  
А те пойдут себе родимой стороною,  
копытцами стуча и с ветром впереди.  
О мать моя, зачем тебе никто не нужен?  
Зачем они идут, лишь пыль твою крутя?  
Я мой последний век одной тобой недужен,  
прижитое тобой строптивное дитя.  
Уйду – не поглядишь, как будто без возврата.  
Вернусь – и не сморгнёшь, как будто без души.  
По всей твоей длине мне ни сестры, ни брата.  
Забудешь и меня – хоть адрес запиши...  
Теперь моя пора глядеть на птичьи лица,  
осинам щупать ворс и с деревом стареть.  
Беспамятным родством ни с кем не поделиться.  
И солнцем пожилым души не обогреть.

\* \* \*

Окошки вымыты до блеска,  
светило вверх вознесено.  
И сам я, старая железка,  
сегодня с миром заодно.  
В нём всё продумано и ладно,  
как намечалось в чертежах:  
и этот запах шоколадный,  
и плеск на верхних этажах.  
Уж так положено в природе:  
всё, что растёт, – поспеет в срок.  
В природе – словно в огороде:  
от всякой лунки будет прок.  
А счастье самоочевидно,  
и день воистину хорош.  
Но перебоев сердца стыдно.  
Но пальцев старческая дрожь...

\* \* \*

Редуют дни. Ослабла связь времён.  
И память спотыкается на датах.  
Пора перемещения племён.  
Опять пожары, войны без имён.  
И «балаклавы» мужиков поддатых.

Привет, мой век! Заткнись и не базарь.  
Довольно с нас двадцатого столетья:  
вон до сих пор першит в гортани гарь.  
На двадцать первом сменим инвентарь.  
А там уже маячит двадцать третья.

Мне и сегодня есть кого терять.  
Творец, не надо обирать до нитки!  
Своим аршином годы отмерять,  
чужих птенцов до срока оперять...  
Мне в тесный сидор набивать пожитки.

\* \* \*

Снова август. Опять осыпаются сливы.  
Застучала грушёвка в саду.  
Я, наверное, буду весь август счастливым,  
а, возможно, и в новом году.

Вот отпраздную день моего появления,  
Александра и Клавдию благодаря,  
что сумели найти мне моё поколение,  
и поэтому всё оказалось не зря –

пригодилось мне тело для крепкой работы,  
пригодилась душа для весёлых утех:  
жить – как будто впиваться в горячие соты  
и не ставить себе нетерпенье во грех.

Шепелявят дожди и проходят к обеду,  
чтобы нашим грачам без помех пировать,  
Я, наверное, снова куда-то уеду –  
что-то стала душа тосковать

о безветренных днях, о дождях с поволокой,  
о тяжёлых садах и грачах на стерне.  
О моей молодой, о далёкой-далёкой,  
о стоящей за домом огромной стране.

\* \* \*

Всё утро гремело и шли обложные дожди,  
как будто взаправду иного у нас не бывало.  
Потом посветлело, пробился прогал впереди,  
хотя над Сухушей всё так же лило-поливало.  
К полудню затихло. Потом загудело опять.  
Ну, скучно, её-богу, и осточертело с годами!  
Вон с дальних покосов снялась волокнистая прядь,  
откуда-то сверху плывёт и плывёт над садами.  
Я плохо запомнил подробности этой поры:  
похоже, хлебнул по дороге привычной отравы,  
поскольку тогда в Каблучках начинались пиры,  
текли мимо нас от дождей очумелые травы.  
И тёплые люди: соседки-хабалки, мужа –  
бутылочных дел мастера-профессура  
в проулке от скуки стреляли в закат из ружья...  
Металлом брэнчала с дороги проезжая фура.

\* \* \*

...А в каждом дереве живут тела и лица,  
похожие на нас, но с обликом иным:  
ещё совсем никем не встреченная птица  
то когтем проскребёт, то клювом костяным.  
Родимые, ау! Протягивайте руку,  
протиснитесь крылом и проломитесь к нам!  
Я лиственичных мух гоню от вас по звуку  
и хрущевидных ос зову по именам.  
Придите, чтобы стать, успеть, довоплотиться,  
пробить пространство лбом, раздвинуть локтем луб.  
И – выйти, засвистать, прорезать, покатиться..  
И слово обогреть улыбочатостью губ.

\* \* \*

Мне темно и просторно – такие огромные ночи...  
Мать моя, я старею, а всё твои руки ищу.  
Наклонись надо мною, открой твои ясные очи!  
Ты ко мне прикоснёшься – и я моё время прощу.  
Посмотри, кем я вырос, куда уйду без оглядки,  
как огромные ночи мне тьмой наполняют глаза!  
Мати, мати, ты помнишь:  
я Геночка в детской кроватке?  
Я седой и гунлявый, трёхлетка, старпёр, егоза.  
Жёсток сделался воздух, и коротко стало дыханье.  
Только звёзды бессмертны, но тоже срываются вниз.  
У, проклятая старость, бесстыдство, позор, усыханье!  
Ты хотя б ко мне, мати, хотя б у дверей обернись...

\* \* \*

Что-то стали мне вдруг без причин велики пиджаки:  
видно, начал ссыхаться, как мумия Тутанхамона.  
Или в землю расту, как растут иногда старики  
накануне дуренья и страшного Божьего шмона.  
А чего мне дрожать? Заведу себе новый пиджак –  
мальчикового роста и в пуговках с медным отливом.  
Буду, выпив и члены поштучно сложив на лежак,  
засыпать разодетым и вдрызг непробудно счастливым.  
А потом загремят надо мной соляные дожди,  
станет гром пролезать из какой-то небесной прорехи.  
Мне плевать на пиджак, ты мне душу им не береги,  
дай мне время узнать в мелекесском расколоте эхе,  
через память мою, через бабий растрёп голубей  
дай увидеть себя с этой детской кургузой губою,  
три столетия назад, где уже никого, хоть убей,  
только прах, только ах, только это поверх, голубое...  
Буду в землю расти, буду за руки ветер хватать,  
буду мергель топтать от Коломны до устья Салгира.  
Ай, хороший пиджак, чтобы в нем перед Богом предстать  
посредине его невозможно богатого пира!

\* \* \*

Сидеть, глядеть куда-то не туда –  
гораздо дальше или даже выше,  
хотя по расписанию среда  
и за сараем безобразят мыши.  
А день обычен с раннего утра –  
весь в ширину, со штатным перекосом.  
Вон задний пруд захвачен на «ура»  
в угоду небольшим великоросам.  
Чего бы мне такого сочинить,  
чтоб трепетало в горле тёплым словом?  
Пойти куда-то, что-то заменить  
в миротворении, давно уже не новом?  
Похвастать чем-то...  
Ну же, подскажи,  
читатель, друг моих былых писаний!  
А то сижу, склоняю падежи...  
И тихо зарастаю волосами.

\* \* \*

Я долго зрел, как поздние хлеба:  
сидел, гудел полураздельной речью.  
И жизнь была пока что не судьба,  
а лишь вливалась в общечеловечью.  
В словах есть власть, несущая печаль.  
Они умеют видеть дальше зренья.  
Мне до сих пор такого слова жаль,  
когда оно – не из стихотворенья.  
Высокие стоят над нами дни.  
Пора прощаний только наступила.  
В словах есть страсть, поэтому они  
творенья настоящие стропила.  
Мне больше не о чем просить Творца:  
в мои года всё спрошено и взято.  
Я перестал встречать во сне отца...  
Но это просто память виновата.

\* \* \*

С глазами нежной лошади-подростка,  
 косящими от счастья на бегу,  
 ворвался день в траве такого лоска,  
 что я лицом к ней ластиться могу.  
 И мухи, как носатые старухи  
 семитских обжигающих кровей,  
 опять со щёлком, жилисты и сухи,  
 врезаются полудню меж бровей.  
 И поделом! – за то, что он, брудастый,  
 загнал жарой курей под лопухи.  
 За то, что утром, как ментольной пастой,  
 покалывало первые стихи.  
 За то, что нам...  
 Да ни за что, ей-богу!  
 А просто так – от гомона гусей,  
 от воробьёв, упавших на дорогу,  
 которой прыгал дождик-моросей.  
 Скорей – от простоты существованья,  
 от лёгкости и боли бытия.  
 От дальнего глухого кукованья  
 про то, как долго буду жить не я...

\* \* \*

...А я ещё играю и пою,  
 и надо мной ещё дыханье тает.  
 Но я рецептов жизни не даю –  
 и без меня советников хватает.  
 Мне труден мир, придуманный вчера,  
 без чертежей, наощупь и вприглядку.  
 Там то кричат поспешное «ура»,  
 то вытирают рукавом сопатку.  
 История, козёл её дери!  
 К ней у меня – ни капли уваженья:  
 одни прорехи или волдыри...  
 И бег на месте – спешка без движенья.  
 Вон спелый облак набирает рост.  
 Река течёт вне всякого резона.  
 Мой трудный мир, который, вроде б, прост...  
 И тень бежит по ёжику газона.

\* \* \*

Искорёженный радикулитом,  
диабетик, зануда, истец недосмотренных бед,  
что я вам расскажу о творении, светом налитом,  
о реальном твореньи, подобных которому нет?  
О привычке любви и заносчивых днях начинаний,  
о гудящей от счастья шмелиной альтовой струне?  
И о жизни моей с обретением вечных незнаний –  
золотая, вернись, помани, погадай обо мне:  
что мне будет нескоро, какие нужны обереги,  
чтобы, чёрт побери, не кончалось кино за окном?  
Чтоб летели, кружили крещенские лёгкие снега  
с их защитным окрасом и вафельным их полотном.  
Из еловой щепы возникают шелка и вискозы.  
Время просится в дело – не терпится дальше расти  
ради самой обычной, никем не рифмованной прозы,  
ради внятного слога и воздуха в жаркой горсти.

\* \* \*

...А я хотел бы стать картавящим фаготом,  
по вечерам блажить-кружиться в горсаду.  
Но сада больше нет, и город продан жмотам.  
И я уже туда дороги не найду:  
подводит в мелочах растерянное зреньё,  
не отвечает слух на зовы в никуда.  
Над Аблова звезда протяжного горенья –  
ещё красноармейская звезда.  
Нечётки жизни след, и все её названья –  
крошущимся мелком на рухнувшей стене.  
Кому теперь нужны внезапные взмыванья  
фартовых сизарей? Не мне, уже не мне.  
Я больше не вернусь искать себя на Горке.  
Меня давно там нет, и стали далеки  
цыганской ворожбы цветастые оборки,  
мордовские камвольные платки.

\* \* \*

Благословляю крышу над собой  
и тех, ещё стыдящихся и ждущих,  
скворца на ветке в Гефсиманских кущах,  
себя с моей неистойвой судьбой  
и то, как сокращается мой срок,  
и как по фене ботает столетье,  
которое второе или третье...  
Я в нём хотел прижиться и не смог:  
меня вели судьбы моей круги,  
я был ничей, берёгся от простуды,  
читал стихи под звяканье посуды  
в одном полуподвальчике ОГИ.  
А за окном летел просторный снег  
такой свободы и такой печали,  
какую Бог дает всего в начале.  
И солнце грело мне облатки век.

\* \* \*

Уже подходит время нищеты...  
А я не птица, чтобы греться пухом.  
Мне нужен кров, в котором рядом ты.  
И спать ложиться с благодарным брюхом.  
Мне нужен стол, пространство для локтей.  
Внизу – объём, куда поставить ноги.  
В окошке – лёт растрёпанных сетей  
и беспричинный вихорь на дороге.  
Зачем я жил и не копил добро?  
Зачем я пил и не сдавал чекушки?  
А ты, моё увечное ребро,  
мне плешь не проедала на макушке?  
Мол, сын растёт, а пенсия – гроши,  
и старики едят не хуже прочих.  
Но все мои запасы-барыши  
в моих тетрадах для рабочих строчек...  
Каким добром набиты сундуки!  
За четвертной отдам любую строчку!  
Да что-то не толпятся мужики  
и не берут ни налом, ни в рассрочку.  
Прости. Я ненавижу нищету.  
Она – из детства голода и вони.  
И слёзы унижения во рту  
от собственной протянутой ладони.

\* \* \*

Блатняги с челочками злыми  
и с папироской на губе...  
Как я тянулся вслед за ними  
и верил им, а не себе!  
Они так финками играли,  
так Венька Шнур был с нами груб!  
У них такие были крали  
с таким расквасом жарких губ!  
А я сопляк, полшестёрка,  
ничем от мира не прикрыт.  
Вокруг меня срамная Горка,  
её вполне кошмарный быт.  
Эй, кто-нибудь, большой и грозный!  
Найди меня, накрой полой  
на этой улице тифозной,  
наполовину нежилой!  
Химмаш, Литейка, год червонный.  
Зловонье трёх больших прудов.  
И старый тракт скотопрогонный  
уже с дыханьем холодов.  
А мама-родина глядела  
из-за портьеры, из окна.  
И от бесхлебицы редела  
жидкопосевная шпана...

\* \* \*

По горбатым улочкам Галаты,  
на огни Таксима-кликуна  
ночь приходит, запахнувшись платом,  
никому покуда не видна.  
Ах, Истамбул, я мечтал о многом –  
ничего, похоже, не сбылось.  
Пусть хоть чайки над Злащёным Рогом,  
пусть хоть дней серебряная ось!  
Пусть хотя б под гомон Аксарая  
море-мрамор бьёт о край земли  
и на дальнем рейде, не сгорая,  
в полнебес пылают корабли.  
Ветер воли облако проносит,  
словно парус, выгнув за края.  
Он ведь так, он просто поматросит...  
Невзаправду это, жизнь моя.

\* \* \*

Когда ушли из хора тенора  
по воле обстоятельств или мора,  
остались мы, которым не пора, –  
хористы из поспешного набора.  
Мы были худосочная шпана,  
прыщатики, подпевка на подхвате.  
Но так оборотились времена,  
что мы – в фаворе у случайной знати.  
Что ж, мы поём. А эти, что ушли...  
Их голоса текли горячей нитью  
туда, где выше и поверх земли...  
Куда во сне летают по наитью.  
И нам бы так: взлететь и зазвучать –  
просторно, полной грудью, без опаски!  
Оставить на судьбе свою печать...

Да вот не те голосовые связки.

\* \* \*

Этой женщины вялые груди  
и волос поредельй пучок...  
И когда только память забудет  
мелекесский фартовый толчок?  
Мне гадалка там жизнь нагадала,  
злые карты вразброс вороша.  
За баракком гармошка рыдала  
в неумелых руках алкаша.  
А старуха, на карты не глядя,  
бормотала про боль и перо,  
про какие-то книги-тетради...  
И небрежно мешала таро.  
Всё сбылось из её бормотанья,  
весь набор и удач, и невзгод:  
и жена, как предсказано, Таня.  
И мальцу восемнадцатый год.  
Всё сбылось, да с неверного тома.  
Всё пришло, но в сумятице лет.  
Что-то спутала старая рома  
и не так положила в пакет:  
вроде б и совершилось, но рядом.  
Вроде, было, но как не со мной.  
...Вот и помнится небо над садом  
и рыданье гармошки хмельной.

\* \* \*

Я погляжу на жизнь мою –  
и заиграю-запою.  
Да так, что слышно в Лепяшах  
до сотрясения в ушах:  
– Смотрите, вот я глуп и стар,  
хлещу по праздникам нектар  
(а если крепко загрущу –  
и не по праздникам хлещу).  
Пейзане кружатся лужком,  
кто при штиблетах, кто пешком.  
А мне и смех, а мне и грех,  
а я один при них при всех,  
и нам совсем не моветон  
исполнить хором вальс-бостон.  
Я вон каков, я вот таков,  
неугомонный Русаков.

\* \* \*

Никакие печали уже надо мной не закрывают.  
Я свои отпечалил, мне впору навзрыд зарыдать,  
потому что сегодня отсчёт у Хозяина начат –  
я поставлен на счётчик, мне в прорези цифры видать.  
Бледный месяц зависнул над полем у самого леса.  
Облака досереют и дымом пойдут над Окой.  
Далеко мне отсюда до пыльных садов Мелекесса,  
до самарских черёмух, а кажется – тронешь рукой.  
Мало кто меня помнит, закончились те переключки.  
Нет ни третьего взвода, ни солнцем беременных пчёл.  
И напрасно мне снятся сержантские жёлтые лычки,  
будто я воротился и заново память прочёл.  
Позабыто – избыто. Моё остаётся со мною.  
Доцветает репейник – трагической силы цветок.  
Что мне, Господи, счётчик, когда у меня за спиной  
бледный месяц над полем, и слышится времени ток,  
пар стоит на покосах, шуршат осторожные крысы,  
и роса по колено, чирок за Оку пролетел?  
И придонные рыбы, от хвори и старости лысы,  
поднимаются снизу, белея поленьями тел.

\* \* \*

Когда моя огромная страна  
отмается горячкой нетерпенья,  
кому упомянуть наши имена  
и наши песни камерного пенья?  
Мы не умели словом бить набат..  
Чирикали, подпрыгивали, ждали.  
Бренчали под гитару про Арбат,  
крамолой стукачам надоедали.  
А Он гремел с балконов и небес,  
хрипел из окон, грохотал со сцены!  
Он за гитарой косолапо лез  
и напрягал натруженные вены.  
И вот Он есть, а нас, как прежде, нет.  
Размер души – всегда всему мерило.  
...Трынди, гитара! Выдадим дуэт!  
Но поколение быстро отдурило.

\* \* \*

Ах, как птицы кричат на рассвете  
в эти воглые, тихие дни!  
Если верить давнишней примете,  
то последствием их суетни

будет ведро уже на неделе..  
Только нужно, чтобы воздух просох.  
Чтоб грачи на пруду не галдели  
и не тёк нашатырь из досок.

Чтобы стружки так страстно не пахли  
чем-то женским, совсем молодым.  
Чтоб над срубом с расчёсами пакли  
не дрожал этот трепетный дым.

\* \* \*

День развиднялся, стал весёлым.  
Жизнь началась с хороших дел.  
И полегчало ближним сёлам,  
и можжевельник отвердел.  
А мир, как прежде, не рассказан.  
В нём всё во вторник началось.  
Он сам себе за всё обязан –  
в нём только радость, а не злость.  
Мы ночью спим, а днём жалеем  
пустое время темноты.  
И посередке по аллеям  
стоят-качаются кусты.  
Понять бы их – они откуда?  
А эта птаха что поёт?  
Но их размахов амплитуда  
таких ответов не даёт.

\* \* \*

Моя страна, которой больше нет,  
лежит к востоку – прямо и направо.  
Туда идти каких-то двадцать лет:  
вход со двора, внизу набрать «Держава».  
Ни мощь, ни спесь, ни орудийный рык  
её побед, ни боль её распада  
мне ни к чему... Но я, её старик,  
гляжу туда, куда глядеть не надо:  
на мелекесский сорок с чем-то год,  
на ветхие ларьки хлебоборздачи,  
на то, как местный тихий идиот  
скликает мамку, задыхаясь в плаче.  
А мамки нет, её прибрал плеврит..  
Ой, Мелекесс, твой лазаретный запах!  
И твой собор по-прежнему стоит,  
ещё живой и в довоенных птахах.  
А у меня ни доли, ни судьбы.  
Есть только память плотного замеса.  
...Лишь два десятилетия ходьбы.  
А дальше тыща лет – до Мелекесса.

\* \* \*

Заколодело поле от снега,  
и, похоже, гудит под ногой.  
Если прыгнуть на кочку с разбега –  
выйдет звук колокольно-тугой.

От села в направлении к Варищам –  
чей-то странно размазанный след.  
Мы, Владыка, разгадок не ищем:  
может, есть, может, вовсе их нет.

Может, птица над полем летала  
и о землю задела крылом.  
Закричала, упала и встала,  
и взвилась над собой напролом.

Может, там этот день малоснежный  
трусским волком бежал по стерне –  
по огромной, по горькой и нежной,  
по моей непосильной стране.

\* \* \*

Ходить, ногой ошупывая пласт,  
чтоб невзначай не допустить оплошку...  
Я долго был ухватист и горазд,  
да вот теряю хватку понемножку.  
Земля мне нынче стала тяжела:  
одни бугры, ухабы и овраги.  
Такие-то, товарищи, дела  
и мелодрамы при нормальном шаге.  
Бог с ней, с ходьбой. Я научусь летать.  
А нет – куплю себе мотоколяску.  
И буду проноситься, аки тать,  
по мирным сёлам, где пускался в пляску.  
Вот на машину вряд ли потяну.  
К тому же, эти правила вожденья...  
Ах, в инвалидной «Антилопе Гну»!..  
Превыше не бывает наслажденья.

\* \* \*

Скрипит сквозняк незакреплённой дверью  
и стелется до кухни от сеней.  
Медовый Спас, по местному поверью,  
нагуливает сало у свиней.  
Как август рыж и смотрит внятным зреньем!  
Пометил дни – и позабыл им счёт.  
Да, мир хорош в сезонном исполненьи,  
хотя с утра бессовестно печёт.  
Понять бы мне его во всех деталях,  
услышать ритм намоленной судьбы,  
чтоб не искать её в нездешних далях,  
не слышать эти «если» да «кабы».  
Хочу во всём привычного повтора.  
Не уходи, мой век, моя родня!  
Вон ветер сдвинул с места кучу сора.  
И куры квохчут явно про меня.

\* \* \*

Проходит онемение удара.  
Жизнь понимает, что она жива.  
Как хорошо, что мы друг другу пара,  
хотя бы по вопросам существа!  
И если, беззащитней женской шеи,  
придут слова, к общению просясь,  
я, как связист, укравшийся в траншее,  
установлю на месте с ними связь.  
Всё на потом: расчёты и разборки,  
деление на своих и на иных...  
Сперва прочесть от корки и до корки,  
ища метафор – тёлоч племенных,  
проверить слог по линии разлома  
на крепь, на вязкость, на едрёну мать!  
И только после, на досуге, дома  
уже на вкус и цвет воспринимать.

\* \* \*

Я по ночам хмельные вижу сны  
и, просыпаясь, мучаюсь изжогой...  
А всё равно мой срок – на две весны.  
И Ты меня, пожалуйста, не трогай.  
Мне жизнь моя на откуп отдана.  
На полсудьбы назначена удача.  
Была бы лишь огромная страна  
да горло для жаления и плача.  
Всё остальное – выдумки и блажь,  
одна хула в подростковом запале.  
Отчизна муравья, что ты мне дашь  
взамен всего, что мы с тобой проспали?  
У счастья нет подробностей числа –  
лишь свет в глаза и пчёлы на припёке.  
Лишь утро бьёт в свои колокола –  
как прежде, не укладываясь в сроки.

\* \* \*

Сейчас бы выпить красного с Тельновым,  
втроём с собакой выйти в темноту.  
И в воздухе, давно уже не новом,  
найти отрозовевшую черту...  
Я в ностальгии по себе, иному –  
тому, что был в отбывшие года.  
И ничего не знал про аденому,  
а умирал ещё не навсегда.  
Стоял в ночи и, шею напрягая,  
глядел туда, опять на звёздный ряд,  
где жизнь жила уже совсем другая,  
почти неразличимая на взгляд.  
И думал мысли разного размера,  
где ничего – о жизни, о другой:  
лишь ночь, вино, печаль и будто вера...  
И собачонка с поднятой ногой.

\* \* \*

Я лист от дерева, я конус нарастанья.  
Мне время-бабочка садится на плечо,  
смыкает два крыла, два шёлковых шатанья,  
и кажется, что ей легко и горячо.  
Рабочие жуки из самых облигатных,  
подкорные клопы, запазушный народ,  
гуляют в пиджаках, в штанах тяжёло-ватных,  
потом стучат кайлом и луб кидают в рот.  
Но время-бабочка, и эта ветка света...  
И сока плотный бег до рокота в ушах.  
И лиственничных мух полёт, укус-помета.  
И там, над головой, неразличимый шаг.

\* \* \*

О, Господи, неужто же опять –  
стихоразбой с его наёмной сворой?  
Течение дня поворотило вспять,  
и не понять, которая (который)  
строка (размер) ощерится в углу  
в предвиденьи Варфоломейской ночи,  
и лунный свет заблещет на полу,  
и сердце обольщаться не захочет?  
Уснёшь, а там ногами рушат дверь,  
шатают сруб, чтоб разобрать на брёвна...  
Какое, к чёрту, творчество – не верь!  
Движок стучит отлаженно и ровно.  
Понтон просел под фурой на мосту.  
Судьба до срока подбивает счёты.  
И пахнет изуверством за версту  
от этой эклектической работы.

\* \* \*

Я, помню, в детстве всё бежал куда-то...  
Трава мне в рост, а я бегу, бегу.  
Где склон – скачусь, где яма, там залягу,  
устану в небо, но опять бегу,  
теперь уже отвесно, как по стенке,  
пришлёпывая драным башмаком.  
Да, тут был важен бег, он что-то означал:  
меня никто не смеет задержать,  
когда бегу, я неподвластен взрослым.  
А там, на небе, кто-то ждет меня.  
Не Бог, но кто-то. С Богом не играют,  
а этот, ждущий, кажется, не прочь...  
С тех пор я больше так уже не бегал.  
А нынче удивился: «Почему?».  
И вновь представил: я бегу, бегу.  
Меня все ищут, мама чуть не в слёзы...  
А я, больной и старый, некрасивый,  
давля траву, бегу навстречу лугу,  
навстречу маме, памяти, годам.  
И незаметно убегаю в небо.  
Меня все ищут: «Гена, что за шутки?».  
А я бегу, бегу себе, бегу...  
Где тот, кто мог бы поиграть со мною?

\* \* \*

Политпросвет, спецы с четырёхлеткой,  
наставники, вожди, учителя!  
Вас метили особенною меткой,  
отдельною судьбою наделя.  
Вы нынче – безымянные могилы  
четырёхлетней яростной страды.  
Ссуди нам Бог терпения и силы,  
чтоб отыскать последние следы  
отцовых лет и материнских суток  
на госпитальных выцветших листах,  
в газетах со следами самокруток  
и с пятнами на выживших бинтах!  
Когда-нибудь, собрав былого звенья,  
посмотрят наши дети дальше нас...  
И будет, будет День Поминовенья!  
Хотя ещё не завтра. Не сейчас.

\* \* \*

Нынче солнце в тумане и бледно-рассеянный свет,  
словно смотришь из дома сквозь плохо промытые окна.  
Ничего в этой осени, право, особого нет –  
разве только потёмки и драные в небе волокна?  
Депрессивные дни. Воробьиные стаи с утра.  
Слабый промельк спешащего прочь самолёта.  
Всё отдал бы, ей-богу, за прежнюю жёсткость пера –  
чтобы сразу ложилась в строку рецептурная квота.  
Чтоб естественность речи вела за собою слова,  
не деля их на ранги и не обижая отбором.  
Как от плотности слога болит по ночам голова,  
из-за давности лет неизбежно забитая сором!  
Нынче солнце в тумане и бледно-рассеянный свет –  
(повторенье зачина для полной фигуры охвата)...  
И вот этот форсажный, не сразу редующий след –  
то ли чьей-то судьбы, то ли просто небесная вата.

\* \* \*

В ту пору кровь меня надежно грела,  
и в сутках было семьдесят часов,  
и лето бесприпятственно горело  
над строевым качанием лесов.  
Всё исполнялось, но порой со скрипом,  
как будто шёл в инстанциях разлад:  
дожди лились с каким-то детским всхлипом...  
Мне сверху точно кто-то был не рад.  
А всё-таки так весело любилось,  
такие были клёвые года!  
И сердце по-особенному билось.  
И думалось, что это навсегда...

\* \* \*

Бог забирает лучших среди нас –  
они ему нужнее для работы.  
Он сам определяет день и час  
для пополнения извечной квоты.  
Прости, Творец. Я всё ещё ропщу:  
Ты обошёл меня при разрядке...  
Но следующий раз не пропущу,  
хотя я и пятнадцатый в десятке.  
Кому провидеть помыслы Твои  
с раскладами на сотни поколений?  
Я годен лишь на местные бои,  
для остального нужен рослый гений.  
Ты не сердись. Мы все твоя трава,  
карандаши из общего пенала.  
Но Люда всё-таки была права  
и наизусть Твои расклады знала.

\* \* \*

Ах, какое время отгремело!  
Лживое, счастливое, моё...  
Раздарило то, что не имело.  
Всё в кровянице, а белее мела –  
собирает медь на дожитьё.  
Как ни мажь ему ворота варом,  
ни считай прорехи и нули –  
всё равно я жил его угаром,  
обжигался веком-скипидаром  
на моей одной шестой земли.  
Всё я помню: города и веси,  
волгодоны, планы и гробы...  
Бабка голодает в Мелекессе.  
Я при деле, но легчаю в весе  
на глазах у нищенки-судьбы.  
Жизнь моя, ты здесь, в каком-то шаге...  
Дотянусь и крикну: «Никому!».  
Никому – парады и гулаги,  
пятилетки, шкеты-бедолаги!  
Всё, что нажил, – я с собой возьму.

\* \* \*

Опять глядит из окон и щелей,  
придавленное катархейским слоем,  
озимое молчание полей –  
уже немолодое, но не злое.  
Стрижи ещё роятся над Окой,  
углы срезают, сыпятся в провалы.  
Но день уже как-будто никакой,  
уже совсем какой-то небывалый:  
бредёт, дерёт на липах бахрому  
да вялый пух на плёсах обирает.  
А мы не удивляемся ему:  
пускай себе покуда догорает  
и станет горсткой радостной золы,  
просторно над полями разлетится –  
по ветру, у него из-под полы  
просыпется, просеется, простится...

\* \* \*

Я помню день, пропахший бакалеей,  
случайный облак в ранних небесах.  
И то, как он, застиранно белея,  
качался на высоких парусах.

Ещё я помню валкую походку  
молоковоза на краю села,  
двух мужиков, за домом пьющих водку,  
и злобный блеск зелёного стекла.

С бугра сбегала улица скользяще,  
прижав к груди дороги балансир.  
И был гастрономически изящен  
лёд на припаях, дырчатый, как сыр.

За дальним полем небо накренилось,  
стучал движок и эхо от него.  
А больше ничего не сохранилось...  
Да больше и не нужно ничего.

## ПСАЛОМ ВОЖДЕЛЕНИЯ

Вожделею, Творец, вожделею  
осиянных Твоих плодов!  
Мирры Твоей, елею!  
Весей Твоих, городов!  
Вожделею в томлении духа и плоти,  
аки козлице смрадный, от зуда мотнёю тряся!  
Вожделею, Владыка, к горячей телесной работе,  
потому что покуда она не закончена вся.  
Вожделею жену свою, чтобы войти в её лоно.  
Вожделею дыханья, чтоб воздухом рёбра прогнуть:  
поцелуем продлиться на три ломовых эшелона,  
улетая с платформой, пространство губами тянуть.  
Вожделею смеркания в пахнущей старостью хате,  
солнца в мёрзнувших окнах на сломе щербатого дня.  
Вожделею, Творец, дабы землю Твою обрухатить –  
вожделею, поскольку таким Ты задумал меня.  
Вожделею – и крепнут мои напряжённые ляжки,  
и жена мне раскрыта – земля без осенних одёж.  
...Как, наверно, Ты помнишь счастливые эти мурашки,  
у начала творенья Тебя колотившую дрожь!

## СОДЕРЖАНИЕ

Кирилл Ковальджи. Вступительная статья .....	5
«Когда в апреле верба зацветает...» .....	11
«Как странно вырастать в большой стране...» .....	12
«Сорок седьмой. Воронежские сёла...» .....	13
«Мы маленькие, нищие и злые...» .....	14
«...Еще и мать меня не вспоминала, отец не ждал...» .....	15
«У, как я лгал, когда меня, бывало...» .....	17
«Просовы на дорогах...» .....	18
«Пришёл наш черёд – и вместили сполна...» .....	19
«Игрушечных метелей...» .....	20
«Ветер кружит и падает в сено...» .....	21
«Горит больших ночей задымленная роза...» .....	22
«Нынче ласточки ходят к дождю...» .....	23
Бабушка .....	24
«...и эти ослепительные годы...» .....	28
«Мир всему, что уснуло. Влекутся надзвёздные фуры...» .....	29
«По ниточке гуси летят...» .....	30
«Мне хочется порой прорыть в пространстве нору...» .....	31
«Грустный ангел мне снится ночами...» .....	32
«...А дни идут – лобастые, родные...» .....	33
«Дряхлый дом, веранда в две доски...» .....	34
«Когда мне срок велел, а голод вымыл скулы...» .....	35
«Так птица воздух пьёт и солнце ловит в луже...» .....	36
«Я гляжу, а не вижу. Я слышу, но глух...» .....	38
«Картошки высох цвет, и лета чётки сдвиги...» .....	39
«Ни о чём с творением не споря...» .....	40
«В любовной связке живший на паях...» .....	41
«Вот на карточке, позеленевшей от времени...» .....	42
«В чулане шарит мышь по цинковым тазам...» .....	43
«Опять синоптики наврали...» .....	44
«Уже я был. Уже мне было имя...» .....	45
«...А в августе длинны последние жары...» .....	46
«Жизнь вот-вот оборвётся, как нота счастливого пенья...» .....	47
«Суть не в названиях – в светосиле глаз...» .....	48
«...А по утрам в кагале электрички...» .....	49

Начало .....	50	«Не надо вещей снов – оставим их пророкам...» .....	98
«Когда благопристойное веселье...» .....	53	«Время пахнет высокой тоской...» .....	99
«Устало уходили облака...» .....	54	«Тебе, страна моя, Расея...» .....	100
«Шестёрки, фраера, мальки в садке Господнем...» .....	55	«...Но как отчётливо и резко...» .....	101
«Что так горишься, ива-ракита...» .....	56	«Всё забывается. Не разглядеть лица...» .....	102
«Комарики на дудочках дудят...» .....	57	Блошиный рынок .....	103
«...А где та ярость, что меня кружила?...» .....	58	«Полегли, отощали сугробы...» .....	104
«Погожий день, просторное гляденье...» .....	59	«Поглядеть на пустую дорогу...» .....	105
«Вы живите, а я не помру...» .....	60	«Ну что, моя страна? Перед каким началом...» .....	106
«Вышел – утро в сизой дымке...» .....	61	«Не пишется мне в солнечные дни...» .....	107
«Трещит в сарае дранка...» .....	62	«Народ, который вымирает...» .....	108
«Сырое лето. Вымокли грибы...» .....	63	«...А не нужно вам знать «про поэтов»...» .....	109
«Мне снится мама из того столетья...» .....	64	«Когда рукастый век берёт меня в охапку...» .....	110
«...Но встанут жёлтых солнц растянутые дуги...» .....	65	«Светозарен конец октября...» .....	111
«Однажды утром в раннем октябре...» .....	66	«Бешеные, Господи, бешеные годы несутся по грязи...» .....	112
«Что так время поглядело...» .....	67	«Уже не писанье стихов...» .....	114
Будем живы .....	68	«Когда откручивает кроны...» .....	115
«Двухдневной наледи вода...» .....	71	«Самой мелкой, обдирной листвой...» .....	116
«Зимой стихов никто не пишет...» .....	72	«День плескался золочёным светом...» .....	117
«Когда моя Россия-география...» .....	73	«Как мне к Тебе, Владыка, прикипеть...» .....	118
«О чём между собой беседуют коты?...» .....	74	«Лейтенантской весёлой походкой...» .....	119
«Я к тебе приеду в среду...» .....	75	«Вновь этот гул небесного обвала...» .....	120
«...Но пригодилась жизнь такой, какой была!...» .....	76	«Творец, не суди мне такую судьбу...» .....	121
«Пойду перечитаю Кабыш Инну...» .....	77	«В подвал скатили кадки, обложили...» .....	122
«...И коровы, наверно, на небе у Господа есть...» .....	78	«Когда пройдут полночные гонцы...» .....	123
««Ни о чём не просить, не учить, не являться примером...» .....	79	«...А день уже заполнен до отказа...» .....	124
«...И пасмурного дня невыносимый блеск...» .....	80	«...Но как уходит время из стихов...» .....	125
«Всё чаще звёзды валяются в овраги...» .....	81	«Каким веселием я день отмечу...» .....	126
«Ах, Господи, там яблони цветут...» .....	82	«Молчит июль о чём-то нежном...» .....	127
«Город лживый, нелюбый, немилый...» .....	83	«Мне надоело быть отцом и мужем...» .....	128
«Придти домой, где всё стоит на месте...» .....	84	«Ничего не умеет душа...» .....	129
«Немного выпивший, немного окоселый...» .....	85	«Всю жизнь мою ношу в кармане эти корки...» .....	130
«Муравьиная кучка, забитая в щель тротуара...» .....	86	«Как хорошо без повода напиться!...» .....	131
«На тыще разных ног...» .....	87	«Снова гуси курлычат. И я им ответно кричу...» .....	132
«Неуверенной зеленью мая...» .....	88	«Высокие дожди пришли из-за Коломны...» .....	133
«Мне нравились высокие названья...» .....	89	«Погода всем погодам...» .....	134
«...А ночью встанешь – и к бумаге...» .....	90	«Глазное яблоко устало...» .....	135
«Как меняется колер земли...» .....	91	«Всё бывало с моею страной...» .....	136
«Во вшах, в позоре, в небреженьи...» .....	92	«Жизнь, конечно, обходится дорого...» .....	137
«Покуда живы любящие нас...» .....	93	«По лесам, по долам закружили весёлые мухи...» .....	138
«Лжецы моей земли сигают по вагонам...» .....	94	«...То было время...» .....	139
«В феврале закалим семена...» .....	95	«Ведь ещё ничего будто нет...» .....	141
«У отца моего не было ни орденов, ни медалей...» .....	96	«Колокольным грустным звоном...» .....	142

«Слух слабеет, стал пакостно ровен...»	143
«Ракушек тусклый перламутр...»	144
«Я хожу, как танцюю, на ловком прогибе подмётки...»	145
«День сегодня порядком оттаял...»	146
«Ничего у истории нет...»	147
«Какой-то дождичек убогий...»	148
«Опять безгласно угасает вечер...»	149
«У счастья нет подробностей числа...»	150
«Воротись, я опять для тебя христарадничать буду...»	151
«...И дрожь листвы, текущей по берёзе...»	152
«Сады в дожди становятся тесны...»	153
«Так тихо – словно после вскрика...»	154
«Снова время болеет сезонным падением духа...»	155
«Вот-вот тяжёлым запахом воды...»	156
«Сиротство начиналось с Мелекесса...»	157
«Мне прелесть мира сердце истоньшила...»	158
«Искусство жить – освоенная малость...»	159
«Рутинный дебит-кредит подводя...»	160
«Бог судит не за явное – за тайное...»	161
«В лингвистических снах мне являются странные вещи...»	162
«Из долгой памяти моей...»	163
«Какие странные погоды...»	164
«В животе у каждой кошки...»	165
«Низких солнц ворошенья в раздетой до нитки дали...»	166
«Дерева в кофейных пятнах...»	167
«Когда художник в поздней силе...»	168
«Плывут, плывут по небу корабли...»	169
«Ничего мне не надо от этого гордого мира...»	170
«Поднял взгляд, а там высоко...»	171
«Всё путём, как надо, шито-крыто...»	172
«Так славно пишется в бессолнечные дни...»	173
«...Но как же, Бог ты мой, я леденел в восторге...»	174
«Пусть плачут те, кому настали сроки...»	175
«...А не нужно писать по ночам...»	176
«Когда мы были полная семья...»	177
«Не находит меня слава...»	178
«Березники сквозят по низкому обводу...»	179
«Летела ночь, и длилась, и была...»	180
«Кто не видал меня – смотрите: я из ваших...»	181
«Четырёхдневный дождь отморосил...»	182
«Где ты, мати, блукаешь по свету...»	183
«Теперь пришла пора глядеть на птичьи лица...»	184
«Окошки вымыты до блеска...»	185

«Редуют дни. Ослабла связь времён...»	186
«Снова август. Опять осыпаются сливы...»	187
«Всё утро гремело и шли обложные дожди...»	188
«...А в каждом дереве живут тела и лица...»	189
«Мне темно и просторно – такие огромные ночи...»	190
«Что-то стали мне вдруг без причин велики пиджаки...»	191
«Сидеть, глядеть куда-то не туда...»	192
«Я долго зрел, как поздние хлеба...»	193
«С глазами нежной лошади-подростка...»	194
«...А я ещё играю и пою...»	195
«Искорёженный радикулитом, диабетик, зануда, истец недосмотренных бед...»	196
«...А я хотел бы стать картавающим фаготом...»	197
«Благословляю крышу над собой...»	198
«Уже подходит время нищеты...»	199
«Блатняги с челочками злыми...»	200
«По горбатым улочкам Галаты...»	201
«Когда ушли из хора тенора...»	202
«Этой женщины вялые груди...»	203
«Я погляжу на жизнь мою...»	204
«Никакие печали уже надо мной не закрют...»	205
«Когда моя огромная страна...»	206
«Ах, как птицы кричат на рассвете...»	207
«День развиднелся, стал весёлым...»	208
«Моя страна, которой больше нет...»	209
«Заколодело поле от снега...»	210
«Ходить, ногой ощупывая пласт...»	211
«Скрипит сквозняк незакреплённой дверью...»	212
«Проходит онемение удара...»	213
«Я по ночам хмельные вижу сны...»	214
«Сейчас бы выпить красного с Тельновым...»	215
«Я лист от дерева, я конус нарастанья...»	216
«О, Господи, неужто же опять...»	217
«Я, помню, в детстве всё бежал куда-то...»	218
«Политпросвет, спецы с четырёхлеткой...»	219
«Нынче солнце в тумане и бледно-рассеянный свет...»	220
«В ту пору кровь меня надежно грела...»	221
«Бог забирает лучших среди нас...»	222
«Ах, какое время отгремело!...»	223
«Опять глядит из окон и щелей...»	224
«Я помню день, пропахший бакалеей...»	225
Псалом вожделения	226



ГЕННАДИЙ РУСАКОВ

**СИРОТСТВО НАЧИНАЛОСЬ  
С МЕЛЕКЕССА**



СТИХИ

Издательство «Корпорация технологий продвижения».  
432012, Россия, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 9а, оф. 1.  
Тел./факс: (8422) 38-79-08. E-mail: ktpbook@yandex.ru.

Ответственная за выпуск Винник О. К.  
Редактор-корректор Егоров К. В. Художественный редактор Василькин Н. А.  
Компьютерное обеспечение издания Долговой Т. Е.

Тираж \*\*\* экз. Заказ № \*\*\*.